# Несколько лет с А. П. Чеховым

Игнатий Николаевич Потапенко

SHOUT
SHARE
IT

# Annotation

Игнатий Николаевич Потапенко — незаслуженно забытый русский писатель, человек необычной судьбы. Он послужил прототипом Тригорина в чеховской «Чайке». Однако в отличие от своего драматургического двойника Потапенко действительно обладал литературным талантом. Наиболее яркие его произведения посвящены жизни приходского духовенства, — жизни, знакомой писателю не понаслышке. Его герои — незаметные отцы-подвижники, с сердцами, пламенно горящими любовью к Богу, и задавленные нуждой сельские батюшки на отдаленных приходах, лукавые карьеристы и уморительные простаки… Повести и рассказы И.Н.Потапенко трогают читателя своей искренней, доверительной интонацией. Они полны то искрометного юмора, то глубокого сострадания, а то и горькой иронии.

Произведения Игнатия Потапенко (1856–1929), русского прозаика и драматурга, одного из самых популярных писателей 1890-х годов, печатались почти во всех ежемесячных и еженедельных журналах своего времени и всегда отличались яркой талантливостью исполнения. А мягкость тона писателя, изысканность и увлекательность сюжетов его книг очень быстро сделали Игнатия Потапенко любимцем читателей.


- И. Н. ПОТАПЕНКО
  - ○
  - ○ ПРИМЕЧАНИЯ
- notes
  - ○ 1

# И. Н. ПОТАПЕНКО
# Несколько лет с А. П. Чеховым
# К 10-летию со дня его кончины

Десять лет прошло, а я до сих пор не мог написать о нем ни строчки. В то время как другие уже написали о нем так много…

Меня часто спрашивали: почему? — и я сам спрашиваю себя об этом и вижу только одно: потому, что это тяжело.

Легко писать об умершем, глядя со стороны; легко было писать о нем как о художнике, рассказчике, драматурге. Но всем этим он для меня был не больше, чем для других: предметом восхищения. Главное же, чем он был для меня: человеком, которого я нежно любил.

Не другом, — это я считаю нужным сказать в самом начале и думаю, что у него не было ни одного друга, — но товарищем в самом прекрасном значении этого слова. Было у нас много общей жизни, и, должно быть, в этом и ответ.

Как писать об умершем, которого любил живым? При всяком воспоминании плакать хочется. Еще недавно пошел смотреть его «Вишневый сад», и хотелось плакать, — не от пьесы, не над судьбой героев, а о нем.

Его судьба так похожа на судьбу вишневого сада: и его также срубил беспощадный топор в самом роскошном цвету.

До сих пор не могу примириться с тем, что его нет. И даже не с фактом, который нелеп, не логичен и груб, как все в жизни, а с ужасной несправедливостью…

А впрочем — бесполезный разговор.

Юности я его не знаю. Моя первая встреча с ним произошла, когда у него было уже хорошее литературное имя. Он выпустил несколько книг, был написан и поставлен на сцене «Иванов». Зародилась мысль о поездке на Сахалин.

Я говорю только о встрече. Как это ни странно, но знакомство наше началось не с первой, а со второй встречи.

Первая же была что-то смутное. Я жил тогда в Одессе, писал в местных газетах, служил в городской управе. Моя прикосновенность к литературе была самая скромная: несколько повестушек, не остановивших на себе ничьего внимания.

Гостила в городе труппа московского Малого театра, и приехал он. Обо мне он не имел ни малейшего понятия, но ему напел про меня живший тогда в Одессе его товарищ по таганрогской гимназии — писатель, впоследствии известный

толстовец, П.А.Сергеенко, и привез его ко мне на дачу.

По всей вероятности, он и сам был удивлен незначительностью и ненужностью этой встречи. Я смотрел на него снизу вверх и ждал от него чего-то особенного.

Но он был не из тех, что любят производить впечатление. Напротив (это уж я потом, гораздо позже, разглядел), когда он замечал, что от него ждут и, что называется, смотрят ему в рот, он как будто старался как можно меньше отличаться от всех. Он тогда прятал себя.

Поговорили о чем-то местном и случайном, и он уехал, должно быть пожалев о потраченном времени.

Когда потом, года через четыре, мы встретились в Москве, мы точно в первый раз увидели друг друга. Одесская встреча не оставила никаких следов.

Сближение наше шло очень медленно, — в этом отношении мы оба были люди трудные. У меня это происходило скорее от неуверенности в себе, у него же, как я думаю, от осторожности.

Его всегдашнее спокойствие, ровность, внешний холод какой-то, казавшейся непроницаемой, броней окружали его личность. Казалось, что этот человек тщательно бережет свою душу от постороннего глаза.

Но это не та скрытность, когда человек сознательно прячет что-то такое, что ему неудобно показать и выгоднее держать под прикрытием. Нет, это было нечто совсем другое, чего я долго не мог понять в нем, а потом — не знаю, понял ли, или только придумал для себя правдоподобное объяснение.

Мне кажется, что он весь был — творчество. Каждое мгновение, с той минуты, как он, проснувшись утром, открывал глаза, и до того момента, как ночью смыкались его веки, он творил непрестанно. Может быть, это была подсознательная творческая работа, но она была, и он это чувствовал.

Творчество стыдливо, и у него это было выражено ярче, чем у кого другого. Никогда он не писал в присутствии кого бы то ни было.

Каждому художнику слова ведомо это ощущение: работая в присутствии другого, он чувствует, как будто тот слышит его мысли, видит образы, возникающие в его голове, следит глазами за их чеканкой, отделкой, за всем интимным процессом творчества. Это — мучительное чувство, которого обыкновенно не понимают и не признают домашние, близкие.

«Я тебе не помешаю?..» — говорит жена или сестра, садится рядом и читает книгу и… мешает, потому что мысли и образы стыдятся, бледнеют, прячутся.

Но я знал писателей, которые свыкались с этим, конечно по

необходимости, за отсутствием места, и работа их теряла в качестве. Я знал одного, который должен был писать, держа на коленях ребенка, потому что иначе было нельзя. И это была трагедия, которую он покорно переносил с улыбкой.

Творческая работа Чехова чужого глаза совсем не переносила, и так как он творил всегда и даже в непосредственное соприкосновение с жизнью и с людьми вступал как-то особенно, по-своему, творчески, то ему нужно было прятать эту работу, и вот почему самые близкие люди всегда чувствовали между ним и собою некоторое расстояние.

И потому я утверждаю, что у Чехова не было друзей. То обстоятельство, что после его смерти объявилось великое множество его друзей, я не склонен объяснять ни тщеславием, ни самозванством. Я уверен, что эти люди вполне искренне считали себя его друзьями и по своему настроению таковыми и были, то есть они любили его настоящей дружеской любовью и готовы были открыть перед ним всю душу. Может быть, и открывали, и наверно так, — у него было то неотразимое обаяние, которое каждую душу заставляло отдаваться ему, — потому-то он и знал так хорошо тончайшие извилины человеческой души. Но он-то свою не раскрывал ни перед кем.

Может быть, это-то знание, эта изумительная способность видеть человека насквозь и была причиной того, что он не мог никого близко подпустить к своей душе. Душа эта была какая-то необыкновенно правильная. Бывают счастливцы с изумительно симметрическим сложением тела. Все у них в идеальной пропорции. Такое тело производит впечатление чарующей красоты.

У Чехова же была такая душа. Все было в ней — и достоинства, и слабости. Если бы ей были свойственны только одни положительные качества, она была бы так же односторонняя, как душа, состоящая из одних только пороков.

В действительности же в ней наряду с великодушием и скромностью жили и гордость, и тщеславие, рядом с справедливостью — пристрастие. Но он умел, как истинный мудрец, управлять своими слабостями, и оттого они у него приобретали характер достоинств.

Удивительная сдержанность, строгое отношение к высказываемым им мнениям, взвешивание каждого слова придавали какой-то особенный вес его словам, благодаря чему они приобретали характер приговора.

Читая многочисленные воспоминания о Чехове, я получаю странное впечатление: все как будто боятся, чтобы он хоть на минуту не показался человеком с горячей кровью, с живыми

человеческими страстями и человеческими слабостями.

Может быть, это оттого, что наиболее искренние воспоминания относятся к последнему периоду его жизни, к тому времени, когда полную власть над его организмом взяла болезнь и он, сознательно или нет, тщательно берег свои силы. Обстоятельства так сложились, что в эти годы, прожитые им в Крыму, я его не видел.

В тот же период, когда мы с ним встречались в Москве и Мелихове, отчасти в Петербурге, он не был так бережлив. Можно пожалеть об этом с точки зрения нашей художественной жадности. Если б он и тогда берег свои силы, может быть организм его смог бы дальше бороться с недугом и мы владели бы еще несколькими художественными созданиями.

Может быть. Но жизнь предъявляет свои права, и художника, носителя божественного огня, так же неотразимо влечет к ней, как и простого «поденщика ненужного».

Может быть, я не знаю Москвы или пребывание мое в ней в течение двух-трех зим как-нибудь особенно сложилось, но у меня осталось такое впечатление: там люди дома работают в одиночку, посещают друг друга по делам и в семейные праздники. Когда же хотят собраться тесным кружком, для дружеской беседы, то идут в ресторан, обыкновенно по окончании всех дел, после театра, поздно за полночь и сидят долго, до утра.

А в ресторане — вино, и с каждым получасом беседа становится живей и горячей. Под утро едут за город слушать цыган, а возвращаются домой под звон колоколов, призывающих к заутрене.

А днем каким-то чудом встают вовремя, откуда-то набираются бодрости и сил и занимаются делами.

Чехов жил тогда в Мелихове, своем именьице, которое купил несколько лет раньше, и довольно часто приезжал в Москву. Останавливался он обыкновенно в «Большой Московской» гостинице, но мне, после долгих хлопот, удалось наконец уговорить его останавливаться у меня.

А жил я на Большой Никитской, занимая две скромные меблированные комнаты в нижнем этаже.

Признаюсь, всякий его приезд был для меня праздником, да и не для меня только, а и для всех членов небольшого кружка.

Сейчас же об этом посылались известия в «Русские ведомости» Михаилу Алексеевичу Саблину, который почел бы за обиду, если бы узнал об этом не первый. Соиздатель «Русских ведомостей», почтенного возраста человек, лет на двадцать старше каждого из нас, он питал трогательную нежность к Антону

Павловичу. Всегда занятый по газете (он заведовал хозяйственной частью), с виду суровый и благодаря своей комплекции несколько тяжеловесный на подъем, он оживлялся и обращался в юношу, когда приезжал Чехов, и уж тут дни и вечера, сколько бы их ни было, превращались в праздники.

Нам и без того приходилось завтракать и обедать в трактирах. Но это делалось как нечто неизбежное, а тут все это приобретало своего рода торжественность.

Москвич и знаток Москвы, М.А.Саблин знал, где что нужно есть и пить. Завтракать, например, было необходимо у Тестова, и притом в виде закуски есть не иначе как грудинку, вынутую из щей.

Другой великий знаток этого дела, Вукол Михайлович Лавров, знал потаенные уголки, где можно было получить какую-то необыкновенную ветчину и изумительную белорыбицу, которая таяла во рту, как масло. С этой целью ездили куда-то далеко, на неведомый мне край Москвы, в места, куда я без посторонней помощи ни за что не попал бы.

В дальнейший репертуар входили «Большой Московский», «Эрмитаж», а иногда и путешествие за город на тройке.

Любил отдыхать с нами В.А.Гольцев. Попивая красное вино, которое было вредно для его сердца, он держал остроумные, подчас едкие речи и поддерживал дружески-высокий тон.

После спектакля иногда урывал час-другой и приезжал А.И.Южин, вместе с ним выступали на очередь театральные темы, а красное вино заменялось шипучим.

Антон Павлович иногда ворчал и слегка упирался, но его легко было уговорить. Не мог же он не принимать в расчет, что все это — по случаю его приезда, и не решился бы нанести кровную обиду М.А.Саблину, который в его обществе молодел на двадцать лет.

И он, легонько покашливая, с чуть-чуть сердитым лицом, покорно ехал, а потом оживлялся, вступал в дружеский спор с Гольцевым и был неистощим по части очаровательных, до упаду смешных глупостей и милых неожиданностей, в которых он был неподражаемый мастер.

В.М.Лавров, наш общий приятель, бывал с нами редко, и то это уж означало какой-нибудь тяжеловесный обед с сложной программой и «посторонними» участниками, то есть людьми хорошо знакомыми, но не близкими.

И уж тут была обязательна его речь — своеобразная, почти от начала до конца казавшаяся безнадежно запутанной, с отступлениями, с попутными анекдотами, с невероятными, но необыкновенно характерными словечками, но всегда кончавшаяся

какой-нибудь яркой и уморительной неожиданностью.

Раньше, когда я мало знал его, я всегда при начале его речи испытывал опасение, что вот человек зайдет в такие дебри, откуда ему никогда не выпутаться. Но потом я бывал спокоен за конец и всегда находил в его речах своеобразную прелесть.

Не мог обойтись без речи, конечно, и В.А.Гольцев, великий мастер дружеских речей, щедро расточавший красноречие, ум, а также и яд, которым, впрочем, он никого не отравлял.

Зато домосед В.М.Лавров иногда ознаменовывал приезд Чехова из деревни чем-то вроде раута у себя дома. Это были бесконечно длинные, вкусные, сытные, с обильным возлиянием и достаточно веселые обеды, многолюдные и речистые, затягивавшиеся далеко за полночь и носившие на себе отпечаток самобытности хозяина. Чехова они утомляли, и потому (однако ж единственно поэтому) он шел на них неохотно, но личность В.М.Лаврова его сильно интересовала.

Это был самородок «своей собственной складки». Человек, образовавший себя исключительно своими личными усилиями, отдавший состояние на литературу и затем весь ушедший в свой журнал — «Русская мысль».

К изумлению, я узнал однажды, что он также и самоучка-математик и, в качестве такового, в молодости получил даже какую-то почетную премию в Англии за решение объявленной математической задачи.

Страстный любитель литературы, он читал все выходящее в свет. Писатели были его первые гости: подаренный ему экземпляр с автографом он принимал трепетными руками и нес в свой шкап бережно, как святыню.

Но это, разумеется, не мешало ему в издательском деле быть купцом, а где надо — слегка и поприжать того же самого писателя.

Он прекрасно знал польский язык (кстати, никогда не хотел объяснить, где он ему научился) и был не только почитателем, но и, несомненно, лучшим переводчиком польских авторов.

Помню, как однажды, благодаря этому своему пристрастию, он поставил в довольно странное положение целое общество препочтенных писателей, в том числе, если память мне не изменяет, и Чехова.

В Польше праздновали юбилей (кажется, 25-летней литературной деятельности) Генриха Сенкевича. Лавров, который перевел и поместил в «Русской мысли» почти все произведения этого автора и находился с ним в переписке, разумеется не преминул и в Москве устроить юбилейный обед. В «Эрмитаже» собралось человек двадцать пять литераторов, говорились речи и

пили за единение народностей, за польскую литературу и за талантливого ее представителя, польского юбиляра. Все было искренне, трогательно и хорошо.

В заключение послали юбиляру в Варшаву сердечное поздравление, под которым все подписались поименно.

На следующий день на имя Лаврова была получена ответная телеграмма от юбиляра:

«Благодарю, если это искренно».

Бедный Лавров долго после этого ни с кем не заговаривал о польской литературе.

В Москве Чехов оставался по нескольку дней, но в эти дни ничего не писал. Его манера работать вдали от людских глаз — здесь, где он был постоянно на виду у всех, была неосуществима.

А в гостинице у него был «свой» номер (кажется, пятый), который и потом долго еще назывался «чеховским номером», и это знали, и туда стучались.

Но с незнакомым человеком еще как-нибудь можно разделаться, если занят, — ну, сослаться на эту занятость. Но бывало хуже: друзья, вот именно из тех, что впоследствии, после его смерти, почувствовали себя его друзьями и поведали об этом миру.

Иной «друг» приехал по своим делам из Петербурга и, благополучно окончив свои дела, решил провести вечерок с Чеховым. Тут уж, при его исключительной боязни обидеть, — для него была настоящая беда.

Я знал, например, одного писателя (ныне умершего), который считал себя закадычным другом Чехова, и Антон Павлович относился к нему искренне и сердечно, но совершенно не мог выносить его, как он говорил, «трагического смеха».

И помню, что однажды, пробыв в Москве только один день, А.П. пришел домой и объявил, что сейчас же уезжает в Мелихово.

— Почему?

— Встретил N. Вчера приехал. Остановил извозчика, заключил меня в объятия, узнал, что я живу здесь, и объявил, что сегодня придет к нам на весь вечер. Вот и тебе велел кланяться. Ну, так ты уж его прими, а обо мне скажи… ну, скажи что хочешь.

И сколько я ни доказывал ему, что это можно устроить как-нибудь проще — уйти куда-нибудь, послать N записку, — он оставался непоколебим:

— Все равно он найдет меня и будет смеяться. Ведь он юморист и ужасно любит смеяться, — а это трагедия.

И он в тот же день уехал в деревню, несмотря на то, что у него в «Русской мысли» было дело, для которого он вновь приехал в Москву дней через пять.

Но к чему он чувствовал непобедимый, почти панический ужас, так это к торжественным выступлениям, в особенности если подозревал, что от него потребуется активное участие.

Мне памятен один приезд в Москву покойного Д.В.Григоровича. В Петербурге перед этим был справлен его юбилей. Было что-то необыкновенно торжественное, кажется единственное и небывалое в летописях литературы.

Так как писатель иногда помещал свои вещи в «Русской мысли», то В.М.Лавров захотел устроить ему в Москве «филиальное чествование».

Конечно, это не могло быть даже и тенью петербургского юбилея, но все же — «Эрмитаж», несколько десятков приглашенных, заранее предусмотренные речи.

Само собою разумеется, что был специальный расчет на присутствие в Москве Антона Павловича. С одной стороны, хотелось показать петербургскому литератору лучшее, что есть в литературной Москве и чем она гордится, а с другой — имелись в виду особые отношения между Чеховым и Григоровичем.

Ведь старый писатель первый заметил талант Чехонте в его маленьких рассказах, печатавшихся в сатирических журналах, обратил на него внимание Суворина, написал ему трогательное отеческое письмо.

Антону Павловичу все это было поставлено на вид — и уж само собою разумелось, что он будет украшением «филиального чествования».

Антон Павлович впал в мрачность. Целый день с ним ни о чем нельзя было говорить. Он, обыкновенно ко всему и ко всем относившийся с добродушной терпимостью, для всех находивший извиняющие объяснения, вдруг сделался строг ко всему и ко всем, просто огрызался, так что лучше было к нему не приставать.

К вечеру он стал мягче. К нему вернулся его обычный юмор, и он от времени до времени прерывал свое молчание отрывочными фразами из какой-то неведомой, по-видимому, речи:

— Глубокоуважаемый и досточтимый писатель… Мы собрались здесь тесной семьей… — Потом, после молчания, опять: — Наша дружная писательская семья в вашем лице, глубокочтимый…

— Что это ты? — спросил я.

— А это я из твоей речи, которую ты скажешь на обеде в честь Григоровича.

— Почему же из моей? Ты бы лучше из своей что-нибудь.

— Так я же завтра уезжаю.

— Куда?

— В Мелихово.

Я возмутился:

— Как же так? Григорович, его письмо… Такие отношения… Наконец, разочарование Лаврова и всех прочих…

И тут он начал приводить свои доводы:

— Ведь это же понятно. Я был открыт Григоровичем и, следовательно, должен сказать речь. Не просто говорить что-нибудь, а именно речь. И при этом непременно о том, как он меня открыл. Иначе же будет нелюбезно. Голос мой должен дрожать и глаза наполниться слезами. Я, положим, этой речи не скажу, меня долго будут толкать в бок, я все-таки не скажу, потому что не умею. Но встанет Лавров — и расскажет, как Григорович меня открыл. Тогда подымется сам Григорович, подойдет ко мне, протянет руки и заключит меня в объятия и будет плакать от умиления. Старые писатели любят поплакать. Ну, это его дело, но самое главное, что и я должен буду плакать, а я этого не умею. Словом, я не оправдаю ничьих надежд. Ведь ты же на себе испытал, что значит не плакать от умиления.

Тут А.П. имел в виду маленькую историю, которая произошла со мной года три раньше, когда Академия поощрила меня половинной Пушкинской премией. Д.В.Григорович, участвовавший в заседании, оказал мне совершенно исключительную и ужасно трогательную любезность: прямо из Академии приехал ко мне, которого к тому же не знал и никогда не видал, — чтобы сообщить о лестном для меня событии.

И что же? Я огорчил его. Смущенный, растерявшийся, я только и мог пожать его руку и простыми словами, как умел, высказать ему благодарность. И старик потом кому-то жаловался, вспоминая, как в прежние времена писатели были отзывчивы; приводил известный рассказ о встрече Белинского с Достоевским…

А все то, что говорил Чехов, совсем не казалось ему шуткой. Он действительно испытывал страдание, представляя себя героем нарисованной им сцены. И, в сущности, сцена была изображена вполне правдиво. Так именно и должно было произойти.

И вот за два дня до юбилейного обеда, когда из Петербурга была получена телеграмма, что юбиляр приедет, Антон Павлович уложил свои дорожные вещи и уехал в деревню, давши мне на прощанье такого рода ответственное поручение:

— А ты там как-нибудь уж… уладь. Главное, успокой Лаврова.

Но уладить было трудно. В.М.Лавров чуть не заболел, когда узнал о бегстве А.П. Самый главный кирпич из его великолепной постройки выпал, и самая постройка грозила развалиться.

Но, разумеется, все обошлось. Григорович приехал, обед

состоялся.

Я на нем оскандалился на всю жизнь: вняв увещаниям В.А.Гольцева, покусился на речь о Чехове, то есть о том, как он страстно желал быть на обеде, чтобы самому лично и т. д., но болезнь заставила его уехать в деревню. И господь наказал меня за ложь.

С первых же слов я, никогда еще в жизни не выступавший с публичными речами, сбился. Я только и успел упомянуть об Антоне Павловиче Чехове, который…

А милый старик, видя, должно быть, мое затруднение, сейчас же и выручил меня и сам заговорил о Чехове, о том, как он открыл его талант, о его письмах, словом — все то, что мы теперь так хорошо знаем.

В Мелихове А.П., окруженный родными, вел тихую жизнь, наполненную чтением книг, которых выписывал множество, и неторопливой работой. Жили тут отец его, Павел Егорыч, мать, Евгения Яковлевна, сестра, Марья Павловна, и младший брат, Михаил Павлович.

Но, несмотря на присутствие в доме старших родных, главой его был А.П. Во всем господствовали его вкусы, все делалось так, чтобы ему нравилось.

К матери своей он относился с нежностью, отцу же оказывал лишь сыновнее почтение, — так по крайней мере мне казалось. Предоставляя ему все, что нужно для обстановки спокойной старости, он помнил его былой деспотизм в те времена, когда в Таганроге главой семьи и кормильцем был еще он. В иные минуты, указывая на старика, который теперь стал тихим, мирным и благожелательным, он вспоминал, как, бывало, тот заставлял детей усердно посещать церковные службы и при недостатке усердия не останавливался и перед снятием штанишек и постегиванием по обнаженным местам.

Конечно, это вспоминалось без малейшей злобы, но, видимо, оставило глубокий след в его душе. И он говорил, что отец тогда был жестоким человеком.

И не только того не мог простить А.П. отцу, что он сек его — его, душе которого было невыносимо всякое насилие, — но и того, что своим односторонне-религиозным воспитанием он омрачил его детство и вызвал в душе его протест против деспотического навязывания веры, лишил его этой веры.

«Когда я теперь вспоминаю о своем детстве, — говорит он в одном письме к И.Л.Щеглову, — то оно представляется мне довольно мрачным. Религии у меня теперь нет. Знаете, когда, бывало, я и два мои брата среди церкви пели трио „Да исправится“ или же „Архангельский глас“, на нас все смотрели с

умилением и завидовали моим родителям, мы же в это время чувствовали себя маленькими каторжниками».

И далее, говоря о школьниках известного в то время педагога Рачинского: «если в их душах радость, то они счастливее меня и братьев, у которых детство было страданием».

И хотя в то время все это уже давно кончилось и старик уже совершенно перестал быть действующим лицом в его жизни, а только сидел и, постоянно молясь и читая душеспасительные книги, беззаботно доживал свой век, радуясь знаменитости своего сына, и хотя А.П. относился к нему дружески и почтительно и ни единым намеком не напоминал о прошлом, но прошлое оставило слишком глубокий след в чуткой душе и не было забыто.

И мне всегда казалось, что к отцу он относился без той теплоты, которая согревала его отношения к матери, сестре и братьям. Особенно же к матери, которая при таганрогском главенстве Павла Егоровича едва ли имела в семье тот голос, на какой имела право. Теперь, когда главой семьи сделался А.П., она получила этот голос.

И уж платила она ему какой-то благоговейной нежностью. Казалось, забота о том, чтобы всякое желание А.П. было тотчас же, как по щучьему веленью, исполнено, составляла цель ее жизни. Всякая перемена в его настроении отражалась в ее лице. Его привычки и маленькие капризы были изучены. Ему, например, не нужно было заявлять о том, что он хочет есть и пора подавать обед или ужин, а стоило только остановиться перед стенными часами и взглянуть на них. В ту же минуту она била тревогу, вскакивала, бежала на кухню и торопила все и всех.

Братья его в то время были уже взрослые люди, и каждый занимал определенное положение. Старший, Александр Павлович, жил в Петербурге, и я не имел возможности близко наблюдать его отношения к А.П. Другие же, Иван и Михаил, к которым он относился по-товарищески, помимо чисто братской привязанности, выделяли его как главу семьи, благодаря таланту которого скромное и дотоле неведомое имя — Чехов — было окружено почетным ореолом.

Когда в Мелихово приезжали гости, которые были Антону Павловичу приятны, он превращался в заботливого хозяина и проявлял самое радушное гостеприимство и, главное, — заботу о том, чтобы все были сыты и хорошо спали.

В изданных письмах А.П. он часто упоминает о том, что я пел в Мелихове. Это правда. Музыкой и пением в Мелихове были наполнены наши дни. Хорошая музыкантша Л.С.Мизинова, большая приятельница А.П. и всей его семьи, садилась за рояль, я пел. А Антон Павлович обыкновенно заказывал те вещи, которые

ему особенно нравились. Большим расположением его пользовался Чайковский, и его романсы не сходили с нашего репертуара.

Но в письмах А.П. стыдливо умолчал о том, что и он сам пел, — правда, не романсы, а церковные песнопения. Им научился он в детстве, когда под руководством отца пел в церкви.

У него был довольно звучный басок. Он отлично знал церковную службу и любил составлять домашний импровизированный хор. Пели тропари, кондаки, стихири, пасхальные ирмосы. Присаживалась к нам и подпевала и Марья Павловна, сочувственно гудел Павел Егорыч, а Антон Павлович основательно держал басовую партию.

И это, видимо, доставляло ему искреннее удовольствие. Глядя на его лицо, казалось, что в такие часы он чувствовал себя ребенком.

Я не знаю, как он работал, когда был один. Этого, кажется, никто не знал. Может быть, тогда он сидел за столом не отрываясь. Но в те дни, когда в Мелихове бывали гости, он почти все время был с ними.

Но, несомненно, он и тогда работал. Творческая деятельность не покидала его ни на минуту. И случалось, что во время шумного разговора или музыки он вдруг исчезал, но не надолго: через несколько минут он появлялся, и оказывалось, что в это время он был у себя в кабинете, где написал две-три строчки, которые сложились в его голове. Так делал он довольно часто в течение дня.

Но вечером, когда, около полуночи, все расходились по своим комнатам, ложились в постели и в доме потухали огни, в его кабинете долго еще горела лампа. Тогда он работал, как хотел, иногда засиживаясь долго, а на другой день вставал позже других…

Как относился Чехов к своему врачебному званию? Должен сказать, что я почти никогда не вспоминал о том, что он врач; ничем он не давал повода вспомнить об этом, никогда не вел он разговора о медицине и медицинском.

Конечно, особенно распространяться об этом перед неспециалистом и невеждой не было и смысла, но ведь это прорывается. Когда у человека есть влечение и любовь к какому-нибудь делу, то они будут сквозить во всем. У него же этого не было заметно.

У кого-то я прочитал, будто Антон Павлович страстно любил лечить. Вот чего я никогда не находил в нем. Когда к нему обращались за врачебным советом, он отделывался самыми общими местами, и видно было, что он хотел поскорее кончить

этот разговор.

Может быть, это объяснялось скрытой досадой, что он так отошел от медицины, на которую потратил столько лет и энергии, или просто это было сознание, что он в этом деле сильно отстал и не может стоять на надлежащей высоте.

Ведь тут, за что бы он ни взялся, он непременно сделает хуже, чем другие врачи, которые практикуются и следят за наукой. А ему была свойственна какая-то особенная гордость совести: все делать как следует. И он никогда не брался за то, чего не мог сделать наилучшим образом. Ведь вот, например, он всегда мечтал о том, чтобы иметь публицистические статьи. Об этом он упоминает и в своих письмах. Но он не писал их, потому что они ему не удавались. То есть они были бы не хуже всего того, что пишется, но это его не удовлетворяло.

Поэтому он, не отказывая в советах, когда к нему приставали, не углублялся и ограничивался средствами, которые если и не помогут, то во всяком случае не могут повредить: сода, касторка, компрессы, припарки…

Когда в Мелихове приходили к нему мужики и бабы с нарывами и глубокими порезами и ему об этом сообщали, он кривился — должно быть, опять-таки от сознания, что может сделать не так, как следует, но не отказывал, принимал, с величайшим вниманием осматривал, резал, вычищал и перевязывал.

Я думаю, что если б за операцией пришел к нему помещик, он послал бы его к специалистам. Но для мужика специалист недостижим, и все равно лучше ему никто не сделает.

Однако ж меня, например, он вылечил от экземы, которой наградили меня в одной из лучших московских парикмахерских на Кузнецком мосту. Специалисты прижигали, вырывали волосы и вообще истязали меня самыми последними средствами, а он взглянул и сказал:

— Пустое. Вот я тебе выпишу салициловую мазь.

И выписал. И от этой мази экзема моя прошла бесследно.

И все-таки утверждение, будто он любил лечить, остается произвольным. Иногда он будто и сам себя хотел уверить в этом и, например, своему товарищу по гимназии писал: «Медицина — моя законная жена, литература — незаконная. Обе, конечно, мешают друг другу, но не настолько, чтобы исключать друг друга».

Но на это нельзя смотреть иначе, как на шутку. Пусть за год перед этим он даже исполнял обязанности участкового врача (по случаю холеры) в своем уезде и своею деятельностью заслужил даже особую благодарность земцев.

Но это вытекало скорее из сознания долга, чем из любви к делу. И даже в период этой работы, которая с виду увлекала его и ради которой он на время почти совсем отказался от писания, он в одном из своих писем Суворину так характеризовал это занятие:

«Душа моя утомлена. Скучно. Не принадлежать себе, думать только о поносах, вздрагивать по ночам от собачьего лая и стука в ворота (не за мной ли приехали?), ездить на отвратительных лошадях по неведомым дорогам и читать только про холеру и ждать только холеры и в то же время быть совершенно равнодушным к сей болезни и к тем людям, которым служишь, — это, сударь мой, такая окрошка, от которой не поздоровится».

Но думая так, он носился по своему участку, входил в сношения с местными помещиками, уговаривал их жертвовать деньги. И, получив от земства на это какую-то сотню рублей, устроил свой участок образцово.

И окружавшие его люди в самом деле должны были думать, что он любит лечить и обожает свое лечебное призвание, а на литературу смотрит как на нечто второстепенное. А он в это время писал:

«Нехорошо быть врачом. И страшно, и скучно, и противно. Молодой фабрикант женился, а через неделю зовет меня: „Непременно сию минуту, пожалуйста“… Все это противно, должен я это сказать. Девочка с червями в ухе, поносы, рвота, сифилис — тьфу! Сладкие звуки и поэзия, где вы?»

Кажется, ясно и не может быть подвергнуто сомнению, что искреннего влечения к врачебной деятельности А.П. не питал. Заблуждение же наблюдателей объясняется тем, что за влечение они принимали исключительно развитое в нем чувство долга, которое заставляло его с улыбкой на губах делать то, что было ему неприятно и даже противно…

Такова была его деятельность по холере. Он держался мнения, что, получив медицинское образование и живя в местности, которой угрожает эпидемия, он не имеет права отказаться от применения своих познаний. Он, который считался равнодушным к общественным вопросам, как раз равнодушия-то и не признавал и относился к нему с строгим осуждением.

Между прочим, для доказательства его любви к лечению приводят примеры: как он не отходил от постели своей опасно заболевшей жены и сам ставил термометр, компрессы и т. п., с каким вниманием он осматривал и выслушивал больного тогда артиста Московского Художественного театра Артема. Но это говорит только о том, что он любил жену и дружески относился к Артему.

Наверно, можно было бы привести и другие подобные случаи.

Но для того чтобы ухаживать за страдающими близкими людьми, не надо даже быть врачом и любить медицину. Достаточно только их любить и обладать хорошим сердцем. То же самое по отношению к заболевшим близким людям делают и не врачи, с той лишь разницей, что они в этих случаях могут быть менее полезны.

А себя он не лечил вовсе. Странно, непостижимо относился он к своему здоровью. Жизнь любил он каждой каплей своей крови и страстно хотел жить, а о здоровье своем почти не заботился.

Знал ли он о своем недуге? Может быть, сомневался, может быть, у него была надежда, что его нет, но мысль о нем допускал и иногда, кашляя и считая причиной бронхит, как бы полушутя произносил это слово: «чахотка»…

Да, слово это всегда было у него на уме, как будто он считал себя присужденным рано или поздно сделаться жертвой этой болезни, но находил, что время для этого еще не наступило.

Брату своему он пишет из Москвы в октябре 1893 года: «Маленько покашливаю, но до чахотки еще далеко. Геморрой. Катар кишек. Бывает мигрень, иногда дня по два. Замирания сердца. Леность и нерадение».

Он видит и перечисляет все ее признаки, но как бы нарочно отводит от нее глаза. «Я жив и здоров, — пишет он через несколько дней Суворину, — кашель против прежнего стал сильнее, но думаю, что до чахотки еще очень далеко». А еще позже, когда кто-то в Петербурге сообщил, будто у А.П. чахотка: «Для чего распускать все эти странные, ненужные слухи, ведомо только богу, создавшему для чего-то сплетников и глупцов. Чахотки у меня нет, и кровь горлом не шла уже давно».

Но одно уже то, что он постоянно возвращается к этому и опровергает, показывает, что мысль о чахотке неотступно преследовала его и не давала ему покою. И в то же время он, как будто желая убедить себя в том, что этого действительно нет, ничего не предпринимал против надвигающегося недуга.

Да и что он мог предпринять? Как врач он очень хорошо знал, что действительными средствами против чахотки медицина не располагает.

Всякий другой на его месте мог бы заблуждаться на этот счет, но не он. Всякий другой мог бы хвататься за все, что в изобилии предлагалось шарлатанами, но он всему этому знал цену.

Единственным средством, какое могло бы быть действительным, была радикальная перемена климата, и его он признавал и постоянно мечтал о нем, но оно было недостижимо. Жизнь приковала его к северу, а север незаметно, исподволь

подтачивал его силы.

Не могу забыть, как однажды, в вагоне, во время нашего переезда из Москвы в Мелихово, соседом нашим оказался какой-то кашлявший субъект. Он сейчас же познакомился с ним. Сосед назвался помещиком Вологодской губернии.

Антон Павлович с каким-то особенным интересом начал расспрашивать его о болезни, а когда тот с недоумением и недоверием посмотрел на него, он твердо сказал:

— Я - врач.

И после этого сосед выложил перед ним всю подноготную его болезни. Тут были и головокружения, и перебои сердца, и даже, странным образом, геморрой, несколько неглубоких кровохарканий, словом — все то, что бывало и у него самого.

Потом сосед рассказал о двух десятках врачей, у которых он перебывал, и о сотне лекарств, которые он перепробовал. И на это все Антон Павлович сказал ему:

— Все это пустое. Нужно бросить Вологодскую губернию, закатиться куда-нибудь под тропики и пожить там года два-три.

Это было как раз то, о чем он сам мечтал и что было для него недостижимо.

И потом всю дорогу он чрезвычайно внимательно обращался с вологодским помещиком, расспрашивал его, какая у него земля, что он сеет и какие плуги употребляет. А когда нам нужно было на станции Лопасня покинуть поезд, он, почти дружески простившись с ним, сказал:

— А все-таки вам следует пожить под тропиками.

— Ну, где же там, — возразил вологодский помещик, — у меня на плечах имение и большая семья.

— Семью прогоните, а имение продайте и поезжайте! Иначе ничего хорошего не выйдет.

И так как он твердо знал, что «ничего хорошего не выйдет», то ничего и не предпринимал.

Когда при нем говорили о новых средствах, о разных блестящих опытах, он скептически усмехался. Судя по оказавшимся потом результатам — он был прав. Блестящие опыты в этой области и до сих пор не привели ни к чему; но разве он мог это знать? Больные обыкновенно хватаются за всякую возможность спастись.

И это равнодушие к своему здоровью меня поражало. Он и бронхита своего почти не лечил и не остерегался.

Вообще по отношению к болезням он проявлял какое-то ложное мужество. Он как будто стыдился слишком много заниматься ими, считал это малодушием.

Бывают люди мнительные, которые малейшую перемену в

состоянии здоровья, даже в настроении, принимают за болезнь, а всякий прыщик — за сибирскую язву или рак, и всегда они в страхе за свою жизнь и всегда от всего лечатся.

Он был противоположностью. Он не хотел признавать даже совершенно явных врагов, и они, в виде туберкулеза, геморроя и еще других, сосали его кровь и незаметно подтачивали его организм. Я, например, никогда не слышал от него, чтобы он советовался с каким-нибудь профессором о своем здоровье.

Правда, что материальное положение не давало ему возможности свободно располагать своим временем и выбирать место. Обладая огромным талантом изумительной красоты — талантом, равный которому с тех пор не появился, несмотря на богатый прилив в нашей литературе свежих дарований, и не скоро, должно быть, появится, — он не мог и мечтать о таких колоссальных заработках, какие, слава богу, позже выпадали на долю некоторых других писателей.

Пожить бы ему в Каире зиму-другую, не думая о заработке, о семье, — может быть, мы и теперь еще видели бы его среди нас, — разумеется, если бы это было сделано вовремя.

Среди людей, искренне к нему расположенных, были очень богатые, которым ничего не стоило бы устроить ему такой отдых. Но мы ничего не слышали о том, чтобы у кого-нибудь из них явилась подобная мысль.

Скажут, что Чехов был до болезненности щепетилен в денежных вопросах и не согласился бы ни на какие денежные одолжения.

Совершенно верно, но и не нужны были одолжения, достаточно было не формально, а справедливо оценить его труд. И на этой почве мало ли какие можно устроить чисто деловые комбинации.

Подумать только, что Чехов в большой богатой газете, которая справедливо гордилась его сотрудничеством, получал 12 коп. за строчку, то есть 120 руб. за печатный лист!..

Тут мне припоминается эпизод с одним московским миллионером, страстным почитателем чеховского таланта. Но об этом будет удобнее рассказать несколько позже.

Ницца. Яркий солнечный апрель, а может быть, март. Не могу вспомнить. Знаю только, что в Петербурге был еще основательный холод.

Чехов жил в русском пансионе, который теперь уже, кажется, не существует. Приехав, я застал его там. Пансион был наполнен, так что мне едва удалось добыть комнату где-то во флигеле. У Чехова же была хорошая просторная комната в главном здании.

Публика в пансионе была русская, но крайне серая и неинтересная. Какой-то провинциальный прокурор, учитель, баронесса с дочерью, которой дома, в России, почему-то не удавалось выйти замуж, и т. п.

Но утешением служило близкое соседство М.М.Ковалевского, который жил в своей вилле в Болье, в двадцати минутах езды от Ниццы, и часто посещал А.П., к которому относился с какой-то трогательной заботливостью.

Антон Павлович чувствовал себя здесь в высшей степени бодро. Я редко видел его таким оживленным и жизнерадостным. Самое место, где помещался наш пансион, не отличалось ни бойкостью, ни красотой. Моря отсюда не было видно, да и горы заслонялись высокими домами.

Но недалеко была главная улица — Avenue de la Gare, по которой мы почти каждый день путешествовали к морю и там проводили часы.

Тогда же завязалась у А.П. трогательная дружба с Юрасовым, местным вице-консулом и консулом в Ментоне, белым старичком, который с обожанием смотрел на него и возился с ним, как с ребенком.

Раз в неделю у него бывали пироги, настоящие русские пироги, и он зазывал Антона Павловича к себе. Иногда удовольствие есть эти вице-консульские пироги выпадало и на мою долю.

Да и самый пансион не без основания назывался «русским» (хотя в то время официальное название у него было какое-то другое). Там была русская кухарка, история которой интересовала все население пансиона, а А.П. не менее, чем других. Благодаря ей на нашем столе иногда появлялись тоже пироги, по-русски приготовленная селедка и даже борщ.

Сама же она, хотя и не забыла родного языка, но давным-давно совершенно офранцузилась и не выражала ни малейшего желания вернуться в Россию.

— Зачем? — говорила она. — Там я была рабой, а здесь — свободная гражданка, такая, как все.

В Ниццу она попала лет двадцать тому назад, случайно, в качестве горничной при купеческой семье, но семья уехала, а она осталась. Вышла замуж за негра, плававшего на каком-то пароходе, и у нее была дочь-мулатка, таинственное существо, жившее тут же, в здании пансиона, но отдельно от матери.

Дело в том, что негр, однажды вернувшись из плавания, нашел у своей жены белого ребенка и, сделав из этого правильный вывод, отверг жену, не захотел иметь с нею больше никакого дела. В то время, о котором идет речь, его уже не

существовало, он умер. Да и то белое существо, которое послужило причиной разрыва, тоже умерло.

А смуглолицая Соня (так, кажется, ее звали), уже совсем взрослая девушка, избегала показываться на глаза своей матери, которая встречала ее суровым укором. Она и вообще почти не показывалась, и если уж ей необходимо было выйти со двора, она делала это торопливо, чтобы как можно меньше глаз видели ее.

Выходила же она по вечерам и возвращалась домой не всегда одна…

Это странное сплетение обстоятельств почему-то сильно овладело вниманием А.П. Впрочем, это было понятно.

«В жизни все просто», — обыкновенно говорил он, бракуя в литературе все нарочитое, искусно скомпонованное, эффектное, рассчитанное на то, чтобы удивить читателя. А тут вдруг перед ним жизнь, дающая готовый сюжет для забористого бульварного романа.

Простая русская девушка, негр, белый ребенок, таинственная мулатка, выходящая на ночной промысел…

Иногда за обедом, когда подавали русское блюдо, он сопоставлял, по обыкновению отрывисто и без всяких объяснений: «Русский борщ и мулатка…»

И всегда, когда по двору проходила смуглолицая Соня, он всматривался в нее и следил за нею глазами.

Монте-Карло производило на него удручающее впечатление, но было бы неправдой сказать, что он остался недоступен его отраве.

Может быть, отчасти я заразил его своей уверенностью (тогда была у меня такая), что есть в игре этой какой-то простой секрет, который надо только разгадать — и тогда… Ну, тогда, конечно, выступала главная мечта писателя: работать свободно и никогда не думать о гонораре, о заработке, не связывать литературную работу с вопросом о средствах к жизни. Чехов мечтал об этом не меньше, чем я и всякий другой.

И вот он — трезвый, рассудительный, осторожный — поддался искушению. Мы накупили целую гору бюллетеней, даже маленькую рулетку, и по целым часам сидели с карандашами в руках над бумагой, которую исписывали цифрами. Мы разрабатывали систему, мы искали секрет.

Однажды мы его нашли и поехали в Монте-Карло с точно определенным планом. Игра была маленькая, осторожная, и тем не менее, окончив ее, мы недосчитались пары сотен франков.

Опять бюллетени, снова карандаши и цифры. Подходили к делу с другой стороны, вновь ехали в Монте-Карло и пробовали. Одно время казалось, что мы нащупали верный путь. Выиграли

раз, другой. Но на третий — неблагоприятное стечение обстоятельств, — и все полетело вверх дном.

В то время я, конечно, не занимался наблюдениями над ним. Я сам гораздо больше, чем он, мог бы быть объектом наблюдения; но когда припоминал все это, то как будто не узнавал обычно спокойного, сдержанного, рассудительного, уравновешенного Антона Павловича.

Кто из знавших его поверит, что в нем жил азарт? А между тем он углублялся в цифры, старался проникнуть в сущность этих странных комбинаций, разгадать их тайну. Мы спорили, каждый предлагал свою систему и защищал ее. У него являлись остроумные мысли в этой области, и главное — что волнение его было чисто спортивное, так как он проигрывал, в сущности, пустяки.

Но, однако же, в этом не было ничего трезвого. Поверить даже на минуту, что в случайных комбинациях номеров, цветов и всяких других шансов могут быть отысканы какие-то законы, — для этого, конечно, нужна была известная доля безумия, которое владеет игроками, делает их слепыми и приводит к гибели.

И вот он, как казалось, поставивший своей задачей трезвость, разумное отношение к жизни, человек несомненно сильной воли, в течение десяти дней верил в это, то есть допускал для себя капельку безумия.

Я пишу эти строки, и вот уже у меня является страх, что на некоторых почитателей личности А.П. они произведут неблагоприятное впечатление. В моей памяти встают некоторые, прочитанные мною раньше, воспоминания о Чехове, продиктованные, несомненно, самыми лучшими намерениями и прекрасными чувствами. И тем, кто смотрит сквозь призму этих воспоминаний, А.П. должен рисоваться существом, как бы лишенным плоти и крови, стоящим вне жизни, — праведником, отрешившимся от всех слабостей человеческих, без страстей, без заблуждений, без ошибок.

Но если бы это было так, он не мог бы быть художником, да еще таким проникновенным, каким был.

Нет, Чехов не был ни ангелом, ни праведником, а был человеком в полном значении этого слова. И те уравновешенность и трезвость, которыми он всех изумлял, явились результатом мучительной внутренней борьбы, трудно доставшимися ему трофеями. Художник помогал ему в этой борьбе, он требовал для себя все его время и все силы, а жизнь ничего не хотела уступить без боя. И она права: чтобы быть великим знатоком жизни, нужно испытать ее ласки и удары на самом себе. Разве Гете и Пушкин были праведники, разве они не

были «в забавах суетного света малодушно погружены»?

И в жизни Чехова было все, все было пережито им — и большое, и ничтожное. И если полноте переживаний часто мешали его осторожность и как бы боязнь взять на себя всю ответственность, то причиной этого был талант, который требовал от него большой службы и ревновал его к жизни.

Но Чехов-человек страдал от этого. Испытывая постоянно потребность в нежности, он до самых последних лет был лишен личной жизни. Он думал, что она отнимет у него как у художника слишком много внимания и сил. И когда наконец он позволил себе эту роскошь, вот какими словами он определил свое состояние:

«Ты спрашиваешь, правда ли, что я женился? Это правда, но в наши годы это уже ничего не меняет».

Это, конечно, было преувеличено. Мы знаем, что женитьба не была для него таким безразличным фактом. Но, может быть, в этой грустной оговорке сказалось сознание, что большое личное благо он допустил к себе слишком поздно.

Я возвращаюсь к Ницце. Дней десять длилось его увлечение рулеткой. Он перестал принимать во внимание мои мнения и сам разрабатывал какие-то способы. Иногда он на мой зов поехать в Монте-Карло отвечал отказом. Я ехал один, но, смотришь, через час он появлялся, несколько как будто сконфуженный, становился у одного из столов и долго присматривался, наблюдал, видимо проверяя свою мысль, а потом садился и, осторожно вынимая из кармана золотые, ставил их как-то по-новому.

Кажется, что в результате всех этих попыток был у него небольшой выигрыш. Это и есть тот опасный момент, когда игрок слепнет и с головой зарывается в игру. А у него вышло иначе. Однажды он определенно и твердо заявил, что с рулеткой покончено: и действительно, после этого ни разу больше не поехал туда. Взяли силу его обычные качества — благоразумие, осторожность, уравновешенность, а главное — ему стало стыдно увлекаться и отдавать силы таким пустякам.

Воля чеховская была большая сила, он берег ее и редко прибегал к ее содействию, и иногда ему доставляло удовольствие обходиться без нее, переживать колебания, быть даже слабым. У слабости есть своего рода прелесть, это хорошо знают женщины.

Но когда он находил, что необходимо призвать волю, — она являлась и никогда не обманывала его. Решить у него значило — сделать.

Я, например, нисколько не меньше, чем он, сознавал всю тщету этих систем, всяких ухищрений и выдумок, однако же не мог отстать и продолжал ездить в Монте-Карло, все с большим и

большим усердием, и играл, и… проигрался. Встретил одного солидного петербургского издателя, взял у него аванс и тоже проиграл его, и в конце концов не без затруднений, и то лишь при помощи Антона Павловича, выбрался из Ниццы и доставился в Петербург.

Его я оставил в «Русском пансионе», но скоро получил от него письмо из Парижа, откуда он поехал в Москву.

В Ницце же завершился и эпизод с миллионером, рассказ о котором я отложил на после. Я не знаю, при каких условиях произошло и чем было вызвано, что Антон Павлович после долгих настойчивых предложений со стороны миллионера, страстного поклонника его таланта, решился взять у него взаймы какую-то сумму (несколько сотен). Может быть, это было перед отъездом за границу.

У него ведь всегда бывали недоразумения с конторой по издательству его книг. Там очень медленно производили расчет и нередко предъявляли ему ошибочные счета, для выяснения которых ему самому приходилось приезжать в Петербург. Об одной чудовищной ошибке, когда по предъявленному счету он оказался должен конторе семь тысяч рублей, а по проверке вышло, что контора должна ему что-то, он рассказывает в одном из своих писем. Но это — крупное недоразумение, и потому он его отмечает. А более мелкие случались постоянно, и он часто жаловался на них.

Очень может быть, что и в этом случае контора опоздала с правильным счетом, а он не хотел терять лучшее время, чтобы поехать в Ниццу, и решился воспользоваться предложением миллионера.

И вот однажды в Ницце он получил письмо, в котором миллионер извещал его о предстоящем своем приезде. Я в это время был у него в комнате. Он прочитал письмо, положил его на стол и чуть-чуть усмехнулся.

— Никогда не бери взаймы у миллионеров, — сказал он.

— А что? — спросил я.

— Да вот — неосторожность: я взял у этого. За неделю до отъезда из Москвы. В течение недели мы встретились два раза: в первый раз он заехал ко мне в номер на другой день после займа, сидел час и все время говорил о том, какое это большое удовольствие выручить и поддержать талантливого человека. Мне было стыдно, и я хотел тут же вернуть ему взятые вчера деньги, но побоялся обидеть. Второй раз у Мюра и Мерилиза. Я пошутил: «Вот разменял вашу сторублевку». Он взял меня под руку и отвел в сторону: «Дорогой мой, я так рад… И вы, пожалуйста, не беспокойтесь об отдаче. Когда-нибудь, когда сами будете

миллионером…» — и рассмеялся. Тут уж я непременно вернул бы ему деньги, но их не было со мной, да и начаты они были. А вот от него извещение о предстоящем прибытии в Ниццу, адрес гостиницы, где остановится, и приписка о том, что он намерен дружески провести со мною денька два, и если я наслаждаюсь солнцем и чувствую себя хорошо, то он счастлив от сознания, что и он своим скромным участием капельку содействовал этому… Понимаешь? Так это же хуже всяких процентов. И, кроме того, он убежден, что я непременно побегу в гостиницу приветствовать его с благополучным прибытием. Для того и адрес указывает. А я не пойду.

Он замолчал и ходил по комнате, очевидно раздосадованный. Потом сел к столу, взял бумагу и аккуратно оторвал треть полулиста.

— Вот, помогай-ка…

И я помогал, сколько мог. В французском языке мы были оба порядочно слабы. Но кой-как составили телеграмму в контору издательства, где ему были должны или он мог взять авансом, — этого не помню. Чехов просил немедленно перевести ему деньги телеграфом, и как раз ту сумму, которую он был должен миллионеру.

Я знал, что у него было рассчитано до самой Москвы и человек он был аккуратный, и спросил:

— Зачем?

— Да вот как приедет и попросит меня об отдаче не беспокоиться, так я и отдам. Готов держать пари, что так и будет.

Деньги он получил через два дня. Скоро приехал миллионер, но явился к нему только через несколько дней после своего приезда. Может быть, и в самом деле ждал, что Антон Павлович поспешит «приветствовать его с благополучным прибытием».

Я при этом свидании не присутствовал, а пришел вскоре после его ухода. Чехов встретил меня веселым смехом:

— Напрасно ты не держал пари, я выиграл бы. Он таки сказал это: «Вы, пожалуйста, говорит, дорогой мой Антон Павлович, не подумайте, что я своим приходом хочу напомнить вам», — и прочее. Но как это хорошо, что мне прислали. Вот сейчас мы это и устроим.

Он написал письмо, в котором в самых корректных выражениях благодарил своего заимодавца за оказанную услугу и просил принять уплату долга. А чтобы не обидеть его, он прибавлял, что торопится быть аккуратным плательщиком единственно для того, чтобы иметь право в будущем, в случае надобности, снова воспользоваться его любезностью.

Письмо и деньги были положены в конверт, надписан адрес,

приглашен комиссионер, которому и было поручено все это отнести по адресу.

— Он ведь в экипаже, значит — уже дома, так это не будет слишком скоро.

Так кончилась эта история. А миллионер, должно быть, понял, потому что больше не заглянул к нему.

И вот теперь, когда я вспоминаю об этом, в сущности забавном, эпизоде, мне начинает казаться, что, может быть, я был и не совсем прав несколько страниц назад, когда упрекнул богатых поклонников Антона Павловича в недостаточном радении о его здоровье.

Я должен допустить, что могли быть сделаны попытки устроить для него такое положение, при котором он не должен был бы постоянно думать о заработке, мог свободно ехать, куда ему угодно, и жить, где нравится и полезно.

Но он, вообще державшийся взгляда, что надо рассчитывать только на свои собственные силы, имел возможность в эпизоде с миллионером найти только подкрепление этого взгляда.

Щепетильность же его в денежных делах была исключительная. Я, конечно, не имею в виду людей близких и тех, кого он признавал своими товарищами. Но там речь могла идти о самых незначительных суммах, которые никого не могли обременить. Тут и у него брали, и он не стеснялся.

Но в отношении к издателям он всегда старался не быть должником и прибегал к просьбе об авансе в самых исключительных случаях, и то можно сказать, что инициатива в таких случаях принадлежала ему разве в первые годы его литературной деятельности, когда ценителями его таланта являлись редакторы «Осколков», «Будильника» и других аналогичных изданий.

Тогда ему приходилось на четырех страницах искусно подходить к вопросу, чтобы в конце концов попросить авансом пятьдесят рублей для переезда на дачу, со всевозможными гарантиями отработать в такой-то срок и такими-то очерками.

Но позже, когда имя его стало ценностью, авансы предлагались ему со всех сторон, а он, всегда нуждаясь, тем не менее легонько, но все же очень твердо отстранял их.

На аванс он смотрел как на петлю, которую писатель сам набрасывает себе на шею. Случалось, что, взяв аванс и убедившись, что обещанной работы дать к условленному сроку не в состоянии, он делал огромное усилие, чтобы достать денег и поскорее снять с своей шеи петлю и вернуть аванс, чем, конечно, больше всех и несказанно удивлял издателя, который не был приучен к такого рода щепетильности.

Чехов нуждался… Как это странно звучит теперь! Но в те годы в этом не находили ничего странного. Напротив, считалось в порядке вещей, чтобы писатель нуждался, и чуть ли не прямо пропорционально его таланту.

Ведь незадолго перед тем нуждался и умер в нужде Достоевский. А после него нуждались Гаршин и Надсон. У всех это вызывало сочувствие, но никто не удивлялся. Так полагалось. Книга, как бы ни была она талантлива, была тогда достоянием немногих.

Чехов умер накануне радикальной перемены в судьбе книги. Через год после его смерти начался небывалый в России праздник книги: вдруг бог знает откуда пришли тысячи новых покупщиков, и — это странно даже звучит — у писателей, хоть и немногих, явились если не состояния, то возможность обеспеченной жизни и свободы располагать своим временем.

А Чехов до этого праздника не дожил. Литературное право находило еще некоторый сбыт в розницу, можно было продать издание той или другой книги, тысячу-другую экземпляров, но чтобы оно представляло определенную и постоянную ценность, это едва ли кому-нибудь приходило в голову.

Поэтому, когда узнали, что нашелся издатель, оценивший сочинения Чехова в определенную солидную сумму и предложивший ему эту сумму, стон удивления пронесся по всему литературному стану.

Чехова ценили высоко. Но не в оценке было дело, а в том, что на литературу явился деловой спрос. Как ни велики были обороты некоторых издателей с книгами, но для писателя заработок от издания его книги являлся только небольшим подспорьем, основным же заработком было то, что ему платили в журналах и газетах.

Что платили и как обращались с приобретенным правом на издание рыночные издатели, об этом лучше уж и не вспоминать. Заплатив писателю какие-нибудь две-три сотни за двадцать печатных листов, они печатали сколько хотели экземпляров, потому что писатель проконтролировать их не мог, или не умел, или, наконец, просто не был способен возиться с этим.

Издатели детских журналов, а в то же время и книг платили автору от 50 до 75 рублей за право не только печатания в журнале, но и отдельного издания, причем единственным объяснением такой малой платы был, кажется, малый возраст читателей. Другого объяснения не было, так как детские книги шли лучше всяких других, а издатели переводили свои конторы и редакции в собственные дома.

Между прочим, в Москве ходил рассказ, похожий на анекдот

(но он не был анекдотом), о том, как один очень популярный и весьма передовой издатель детского журнала и книг расплатился с А.П.Чеховым.

Он долго обхаживал писателя, упрашивая его дать что-нибудь в журнал. Отношения были приятельские, встречались у знакомых, на литературных обедах, собирались и у него. Между прочим, расположение издателя к Чехову выразилось в том, что он как-то послал ему в презент несколько бутылок вина из собственных виноградников, которые у него были где-то на юге. Вино было прескверное, но А.П., конечно, похваливал его.

И вот наконец Чехов, теснимый любезностью издателя, дал ему какую-то вещь для журнала. И после этого они встретились у кого-то из знакомых, где было много народу, а может быть — и у самого издателя.

Когда А.П. ночью собрался уходить и надел пальто, издатель подошел к нему и со смущенным видом весьма поспешно ткнул в карман его пальто какой-то сверток и пробормотал что-то насчет своего долга. Чехов, внимание которого в этот момент было занято разговором с кем-то другим, почти не заметил этого движения, простился и вышел на улицу.

Тут он зачем-то полез в карман и нащупал сверток. Вынул — пакетец. Развернул несколько кредиток, что-то рублей 12, и счет: следует за рассказ столько-то. Послано вина такое-то количество бутылок, на такую-то сумму. Остальные 12 руб. при сем прилагаются.

Это было с Чеховым в ту пору, когда имя его гремело на всю Россию. А вот издатель совсем иного типа: идейный, положивший всю свою жизнь на хорошую книгу, отдавший ей все свои силы и действительно далекий от преследования целей наживы. Да она и не была нужна ему, так как он из-за книги совсем не пользовался жизнью.

И вот этот издатель платил авторам, имена которых в то время были популярны, за книгу в 15 печатных листов в 5000 экземпляров — 500 рублей. И это считалось наилучшими условиями, на какие может рассчитывать писатель.

Не нужно быть знатоком, чтобы расчесть, какая незначительная доля выпадала писателю и какой процент на затраченный капитал получал несомненно идейный и благорасположенный к литературе издатель.

После его смерти остались солидные средства, заботливо распределенные им на просветительные цели. Слава богу, конечно, и потомство будет ему благодарно, но справедливость требует признать, что в составлении этого капитала в значительной мере участвовали изданные им писатели, работа

которых была им оплачена по произвольной оценке.

Как оценивалась работа Чехова при издании его книг и на каких условиях они выпускались до перехода прав на издание их к купившей их фирме, я не знаю. Но несомненно, что до этого времени он всегда нуждался в заработке, который доставался ему нелегко. В письме к А.С.Суворину от 1895 года он пишет:

«Не работать мне нельзя. Денег у меня так мало, я работаю так медленно, что, прогуляй я две-три недели, мое финансовое равновесие пойдет к черту и я залезу в долги. Я зарабатываю черт знает как мало».

Это было в 1895 году, то есть когда имя Чехова уже сияло. И тот же крик повторяется у него из года в год. «Я до такой степени измочалился постоянными мыслями об обязательной, неизбежной работе, — пишет он другому корреспонденту, — что вот уже неделя, как меня безостановочно мучат перебои сердца. Отвратительное ощущение».

И это не выдумка и не преувеличение. Душе его тесно было в пределах Москвы, Петербурга и Мелихова, ему хотелось видеть как можно больше, весь свет. Он постоянно мечтал о поездке в какую-нибудь дальнюю страну, и единственная, какая ему удалась, это была поездка на Сахалин — самая ненужная из всех, какие можно было выдумать, и к тому же вредно отразившаяся на его хрупком здоровье.

Результатом этого удивительного путешествия была книга, которая, несомненно, стояла ниже всего остального, написанного им, и едва ли вплела лавры в его венок, в материальном же отношении тоже едва ли прибавила что-нибудь к его благополучию.

А впечатления? Где в произведениях его, написанных после поездки на Сахалин, встречаются отголоски тех впечатлений? Кой-где намеки, не имеющие существенного значения. И не видно было, чтобы он любил вспоминать об этом путешествии. По крайней мере я, проведший с ним немало дней, ни разу не слышал от него ни единого рассказа из того мира. Все, что он получил там, он как будто сдал в свою книгу и забыл.

Так чиновник, вернувшись из неприятной подневольной командировки, доставившей ему много хлопот и лишений, дает о ней отчет начальству и торопится поскорее забыть о ней.

Мечтал же он совсем о другом — о теплых краях, о жизни пестрой, оригинальной, не похожей на нашу.

«Денег, денег, — пишет он своей приятельнице в 1893 году. — Будь деньги, я уехал бы в Южную Африку, о которой читаю теперь очень интересные статьи! Надо иметь цель в жизни, а когда путешествуешь, то имеешь цель».

А позже ему хочется «из Москвы уехать на Мадейру. Это от грудей (то есть от грудной болезни) хорошо», и даже попутчик у него есть.

И так всю жизнь — то на Мадейру, то в Африку, то в Австралию, то в Америку, то шутя, то очень серьезно, но «денег, денег» — их-то всегда у него не хватало, и приходилось довольствоваться домашними поездками — в Таганрог, в Ялту, в Нижний и т. п.

Одну из таких мы совершили с ним вместе, и на пути случился эпизод, пустячный и комичный, но показавший мне, до какой степени решителен и непреклонен становился Чехов, когда его что-нибудь коробило.

Эпизод этот им рассказан Суворину в письме от 15 августа 1894 года.

Захотел А.П. показать свою родину, вернее — его самого потянуло туда. Мы и решили проехать по Волге, начав с Ярославля, спустившись до Царицына, а оттуда в Калач и по железной дороге в Таганрог. До Нижнего мы доехали благополучно. Нам оставалось только пересесть на другой пароход, чтобы плыть дальше.

Бывшая в это время в разгаре ярмарка нас почему-то не заинтересовала. Мы даже как-то и не подумали о ней.

И вдруг встреча. Этот N, «друг Льва Толстого», как его именует Чехов, был ему очень хорошо известен, больше даже, чем мне. И вот черта. А.П. не выносил его за хвастовство, ломанье, болтовню, за отсутствие у него собственного духовного нутра и вследствие этого вечное пристегивание себя к кому-нибудь более сильному, чем, он, — на таком определенном счету он у него был всегда, но никогда при встрече А.П. не показал ему и тени своего настоящего мнения о нем. Нет, он был любезен, шутлив, радушен, проявлял по отношению к нему лучшее, что можно проявить к человеку. И таков А.П. был во всех подобных случаях.

Если ему невмоготу, он уйдет, спрячется или даже, как было в настоящем случае, «позорно бежит», но, пока он стоял лицом к лицу с человеком, каков бы ни был тот человек, он как бы считал долгом в лице его уважать человеческое достоинство.

Оттого из его отношений к людям, деловых и интимных, была исключена всякая вздорность. Ее не было вовсе. В среде писателей и художников так развита болезненная впечатлительность, соединенная с самолюбием, очень часто самомнением, всякий в глубине души считает себя великим, и так легко возникают недоразумения и столкновения. Большею частью это происходит именно от вздорности: неосновательных претензий, нежелания и неуменья спокойно выслушать,

непонимания друг друга, предубеждения, подозрительности, а иногда от нравственной невоспитанности.

Чехов, слава богу, был избавлен от этих качеств, и я, право, не знаю, были ли у него с кем-нибудь недоразумения, которые длились бы больше получаса, когда они спокойно и разумно объяснялись.

Я, конечно, не помню, что именно говорил N такого, от чего А.П. «стало душно, нудно и тошно», думаю даже, что ничего особенного и не было, но Чехов на эту встречу не рассчитывал и представил себе, как его общество и та необыкновенно серьезная околесина, какую он обыкновенно нес, отравят несколько часов, а может быть — и дней. И это заставило его мгновенно изменить весь план.

Он выразительно взглянул на меня, бросил что-то первое попавшееся, а мне шепнул: «на вокзал», — и совершилось бегство.

Конечно, N тоже прикатил на вокзал и принимал все меры, чтобы доконать его. Но ему надо было оставаться в Нижнем, и это нас спасло. Мы уехали в Москву.

Тут досада перешла в дурачливое настроение. Пришла фантазия ни с кем не видаться, не заезжать даже в Мелихово, хотя это было по дороге, и сейчас же двигаться на юг, к хорошим знакомым его, Линтваревым, усадьба которых находилась на реке Псел.

В тот же день и поехали, успев в Москве только пообедать.

На Пселе оказались радушные хозяева, мы провели там очаровательную неделю, и я был благодарен N за то, что он помешал нам осуществить первоначальный план. Бог знает, что еще ожидало нас в Таганроге, а о неделе, проведенной с Чеховым у Линтваревых, я и теперь вспоминаю с благодарностью…

Петербург был для Антона Павловича чем-то желанным и в то же время запретным.

Коренное различие двух столиц Российской империи во всем чуть ли не вошло в поговорку. Несходство действительно бросается в глаза как при въезде в Москву, когда вы окидываете ее улицы и площади беглым взглядом, так и при углублении в ее нравы и обычаи. Для петербуржца все здесь иное, как будто он попадает в иной мир.

Антон Павлович, не будучи москвичом по рождению и проведя детство и гимназические годы в Таганроге, среди смешанного населения огорожаненных хохлов, и обруселых греков, и других южных национальностей, в Москве за время студенчества и нескольких лет самостоятельной жизни, конечно, не мог сделаться москвичом и никогда не был им по существу.

Душа его была соткана из какого-то отборного материала, стойкого и не поддающегося разложению от влияния среды. Она умела вбирать в себя все, что было в ней характерного, и из этого создавать свой мир — чеховский.

И никогда не был он ни таганрогцем, ни москвичом, ни петербуржцем, ни ялтинцем, а был Чеховым — той удивительно своеобразной личностью, которая так красочно рисуется в его замечательных письмах.

Но все же и на нем лежал «московский отпечаток»; по необходимости он свой внешний обиход жизни должен был приспособить к Москве, вести знакомства и дела с московскими людьми и, живя с московскими, «по-московски выть».

Москва была для него буднями. Здесь он должен был сидеть за работой, вечно думать о заработке и сведении концов с концами.

Но если Москва так отличалась от Петербурга в смысле внешнего вида и нравов, то для писателя, особенно для беллетриста, было еще другое, более глубокое различие. Литература тогда была почти вся сосредоточена в Петербурге.

Из приемлемых для Чехова журналов в Москве была только одна «Русская мысль». Из стоявшего во главе ее триумвирата — Гольцев, Лавров и Ремезов — литератором в полном смысле этого слова был только один В.А.Гольцев.

Был еще журнал Куманина «Артист», к которому Антон Павлович относился сочувственно, — красивое издание с широким размахом. Но это был журнал, почти исключительно посвященный интересам театра.

Из газет Чехов мог тогда принимать в расчет только «Русские ведомости», в которых работали главным образом московские профессорские круги, собственно же литераторы, статьи которых от времени до времени там появлялись, были петербуржцы. Беллетристика же как в «Русской мысли», так и в «Русских ведомостях» принадлежала почти вся сплошь петербургским литераторам. Постоянно живущих в Москве беллетристов почти не было.

Что же касается мелкой прессы и разных юмористических еженедельников, то это был тот мир, в котором А.П. невольно вращался в самом начале своей литературной деятельности, — мир, не оставивший в нем приятных воспоминаний, и там ему теперь, конечно, нечего было делать.

Знакомства в Москве у него были обширные, но в огромном большинстве обывательские. Мне сейчас даже трудно вспомнить, кто жил тогда в Москве из заправских литераторов: кроме Вл.

И.Немировича-Данченко и князя А.И.Сумбатова, которые оба больше клонились к театру, и тех, кого я уже упомянул, а также журналистов, работавших в «Русских ведомостях», я никого не припоминаю. П.Д.Боборыкин проживал по нескольку месяцев в Москве, одно время жил Г.А.Мачтет.

Все ежемесячники, за исключением «Русской мысли» и «Русского вестника», к которому А.П. не имел никакого отношения, издавалась в Петербурге, и там были сосредоточены все главные литературные силы.

Понятно, что и литературные связи А.П., которые с каждым годом расширялись, были главным образом в Петербурге. Там, а не в Москве был впервые замечен и признан его талант. Там издавались его книги, а журналы наперебой звали его к себе сотрудничать. Да даже и раньше того момента, когда был замечен его талант, в Петербурге, в лейкинских «Осколках» и в «Петербургской газете» главным образом помещались его рассказы, и оттуда шли первые скромные заработки.

Словом, если Москва дала ему медицинские познания и сделала его врачом, то восприемником его литературной карьеры был Петербург.

И, сколько мне помнится, в Петербург он всегда ездил с удовольствием. В Москве у него шла постоянная, напряженная работа. Даже в Мелихове, которое он любил, как птица любит ею самой овитое гнездо, он не был избавлен от всегдашней заботы о средствах к жизни. В Петербург же он приезжал как будто на гастроли.

Здесь были люди, у которых он мог считать себя как дома. С семейством А.С.Суворина он был в прекрасных отношениях, и там для него был всегда готов «и стол и дом».

Правда, он не особенно любил там останавливаться, но это происходило не от недостатка любезности со стороны хозяев или недоверия с его стороны, а просто от желания не стеснять ни других, ни себя. Быть кому-нибудь обязанным без уверенности в том, что он сможет отплатить, было для него настоящим пугалом. И если он иногда останавливался в гостинице, то это вызывалось не необходимостью, а его капризом.

В самом же Петербурге он был, что называется, нарасхват. Всюду его звали, всем хотелось видеть его своим гостем. Литературных приятелей у него было множество, со всеми надо было посидеть, поболтать, распить бутылку вина.

А кроме того, наполняли время и литературные дела, так как круг его литературных отношений расширился.

И петербургский образ жизни был совсем иной, более подходящий к его вкусам, чем московский, и менее для него

вредный. Петербуржцы — домоседы по преимуществу. Московская трактирность им не по нутру. И потому тут жизнь проходит спокойнее и здоровее.

Он всегда говорил, что в Петербурге у него голова как-то яснее, чем в Москве. Это понятно. Когда люди спрашивают друг у друга: где мы встретимся вечером? — в Петербурге это значит: я к вам приеду или вы ко мне? Когда такой же вопрос задают в Москве, это значит: в «Эрмитаже», в «Метрополе», в «Праге» или у «Яра»?

И в этом отношении Петербург был благоприятен для его здоровья. Здесь он и спать ложился раньше, и нервы его были спокойнее.

И, конечно, он давно оставил бы Москву и стал бы жить в Петербурге, если бы не убийственный для его легких климат нашей северной столицы. Эта вечная сырость, постоянные неожиданные смены тепла холодом и холода теплом, ветры — все это для него было переносимо только в самой небольшой дозе. И он, под личиной постоянного бронхита всегда подозревавший прятавшуюся за ним свою болезнь, стремился в этот город и боялся его.

Среди петербургских литераторов особенно близких приятелей у А.П. не было, но добрые, товарищеские отношения были со многими.

С большим вниманием и, я даже скажу, с товарищеским состраданием относился он к странной литературной судьбе недавно умершего И.Л.Щеглова. Их отношения были давние, завязавшиеся еще в те времена, когда у А.П. не было известности.

Чехов искренне жалел Щеглова и говорил, что его здоровый некогда талант «заболел неизлечимой болезнью».

В самом деле, странна была судьба этого писателя, который начал такими свежими, здоровыми очерками военной жизни, помещавшимися в «Деле», а затем точно вдруг попал в какой-то тупик, из которого никак не мог выбраться.

Соблазнил его театр, и написал он для театра что-то имевшее успех. И этот успех как будто отравил его. В дальнейшем на всей его работе лежал налет театра и кулис. И при этом странно то, что сам он не был театральным человеком. Никто не вспомнит, чтобы часто его видели в театре, а тем больше — встречали за кулисами. Последние годы своей жизни он посвятил народному театру, много писал о нем, составил книгу, которая, впрочем, никакого движения в деле народного театра не произвела.

И вот когда о нем заходила речь, лицо Чехова всегда становилось печальным. Он часто говорил об особом авторском

психозе, которым заболевает человек, ставящий пьесу.

— Я сам испытал это, когда ставил «Иванова», — говорил он и описывал болезнь: «Человек теряет себя, перестает быть самим собой, и его душевное состояние зависит от таких пустяков, которых он в другое время не заметил бы: от выражения лица помощника режиссера, от походки выходного актера…

Актер, исполняющий главную роль, надел клетчатый галстук, а автору кажется, что тут нужен черный. Публика, может быть, совсем не замечает галстука, а ему, автору, кажется, что она не видит ни декорации, ни игры, а только галстук, и что это ужасно, и что галстук этот погубит пьесу.

Бывает и хуже: актриса — ломака, вульгарнейшая из женщин, раньше он не мог выносить ее голоса, у него делались спазмы в горле, когда она с ним кокетничала. Но вот ей аплодируют, она тянет пьесу к успеху, и он, автор, начинает чувствовать к ней нежность, а в антракте подбегает к ней и целует ей ручки…

А вот идет главная сцена, на которую он возложил все надежды. В зале кашляют, сморкаются. Ни малейшего впечатления, ни хлопка… Автор прячется в темной норе, среди старых декораций, и решает никогда отсюда не выйти и уже ощупывает свои подтяжки, пробуя, выдержат ли они, если он на них повесится.

И никто этого не понимает. И те не понимают, что приходят за кулисы „утешать“ автора, и даже поздравляют с успехом. Они не подозревают, что перед ними временно-сумасшедший, который может наброситься на них и искусать их.

Человек с более или менее здоровой нервной организацией выдерживает это потрясение, понемногу отходит, и дня через три его можно перевести в разряд „выздоравливающих“, но иных это потрясает на всю жизнь. Вот это и случилось с Иваном Леонтьевичем.

Нет, вы посмотрите, что ему театр? Да он его даже, в сущности, не любит, почти не бывает в нем и не знает ни актеров, ни актрис, а пишет об актерах и актрисах».

И он постоянно убеждал Щеглова: «Бросьте вы театр и кулисы. Ведь это же, в сущности, лазарет самолюбий. За исключением, может быть, дюжины настоящих талантов, все — страдающие mania grandiosa[1]. А вы обратили бы ваше благосклонное око на простую, здоровую жизнь, которой вокруг вас хоть отбавляй. Вот отворите окно — и она на вас так и пахнёт».

Но это не помогло. Щеглов пережил Чехова, но от театральной отравы не вылечился. Кажется, он даже сомневался, в полной искренности чеховских советов; ведь сам-то Антон

Павлович театром занимается, для театра пишет, и театр в последние годы завершил его славу.

Но тут уже было роковое непонимание, с которым ничего нельзя было поделать.

В Петербурге у А.П. было много литературных приятелей, и каждый хотел повидаться с ним. Он был для петербуржцев человеком свежим, от него живой Русью веяло. Все тут, встречаясь постоянно в одних и тех же комбинациях, изрядно надоели друг другу, и появление его — такого своеобразного и так непохожего на всех — как бы озонировало атмосферу…

В воспоминаниях одного писателя, достоверность которых выше всяких сомнений, я нашел описание странной сцены: как в квартире одного известнейшего писателя почтенная дама, впоследствии занимавшая видное положение в журнально-издательском деле, задела Чехова резким замечанием относительно одного из его литературных друзей. И это была его первая встреча и с писателем и с дамой.

В воспоминаниях об этом говорится вскользь, но я знаю, что эпизод этот в действительности не скользнул по душе Антона Павловича. Он не задел и не оскорбил его лично, хотя не было бы ничего удивительного, если б так случилось.

Каждый имеет право считать своими друзьями тех, кто ему нравится. Определяя направление писателя, казалось бы, достаточно иметь в виду его произведения и оставить в стороне его друзей.

Но упрек этот подействовал на него в другом направлении. Он всю жизнь потом страшился тех исключительности и нетерпимости, какими повеяло на него в том эпизоде.

Я встретился с ним гораздо позже, и все же об эпизоде этом он мне рассказал и не раз возвращался к нему. И потом, сколько мне известно, он, по своим общественно-политическим симпатиям близкий к взглядам того кружка, до конца жизни никогда с ним не сблизился.

— Хорошие люди, — говорил он, — все превосходные люди, но требуют, чтобы и ты был таким же превосходным, как они.

Но это было, может быть, единственное огорчение, доставленное ему петербургскими литературными кругами. Сколько я помню, всегда все были ему рады и его появление всюду приветствовалось. И не подлежит никакому сомнению, что он не только производил освежающее впечатление, но как-то без всяких стараний со своей стороны объединял довольно-таки разбросанные и разрозненные элементы.

Он, например, в один из своих приездов в Петербург подвигнул здешних беллетристов хоть раз в месяц собираться на

общие обеды. Приезд его совпал с Татьяниным днем. В Москве он привык этот день проводить в шумном обществе товарищей по Московскому университету, и привычка эта была так сильна в нем, что он, несмотря на то, что дела этого не позволяли, чуть было не укатил на один вечер в Москву.

Он отказался от этой мысли только тогда, когда ему удалось уговорить группу петербургских беллетристов собраться в этот день где-нибудь в ресторане для общего обеда, что и было исполнено.

И этому обеду суждено было сделаться «учредительным», так как от него пошел целый ряд регулярно повторявшихся обедов. Они назывались «беллетристическими». Но потом почему-то пришпилили к ним ничем не оправдываемое название «Арзамас». Кличка, как нимало не подходящая и взятая напрокат, скоро сама собою отклеилась, да и обеды погибли от взаимного равнодушия участников и — как это ни странно — отсутствия общих интересов.

Из сверстников-беллетристов большими симпатиями его пользовались К.С.Баранцевич, М.Н.Альбов, В.А.Тихонов. Но совершенно особое место он отводил ныне уже покойному Дмитрию Наркисовичу Мамину-Сибиряку.

Он вызвал в Чехове особый интерес и как человек, и как писатель, и А.П. при встречах видимо присматривался к нему и наблюдал его. Он как бы любовался его самобытностью и часто говорил о том, что вот этого человека жизнь трепала, как, может быть, ни одного из нас, а он между тем не уступил ей ни капли из своего уральского колорита.

Как-то у него все выходило по-своему. Его грубоватая и зачастую неприемлемая в взыскательном обществе речь, изумительные по своей меткости шутки, лишенные всякой дипломатичности эпитеты, которые он с лицом невинного младенца преподносил приятелям, его полная беззаботность относительно внешности, небрежно торчащие в разные стороны волосы, кой-какая одежда — все это выделяло его из ряда других.

И невозможно было представить такой обстановки, где Мамин заставил бы себя быть иным. Всегда и во всем он был самим собою и таким остался до конца дней своих.

Чехов сравнивал его с черноземом где-нибудь в Тамбовской или Херсонской губернии: копай хоть три дня в глубину — все будет чернозем, никогда до песку или глины не докопаешься.

В один из своих приездов в Петербург А.П., встретившись где-то с Маминым, так сильно заинтересовался им, что потом все время в разговоре возвращался к нему, а затем вдруг однажды покаялся, что ни одной его вещи не прочитал как следует.

Помню, что мы вместе зашли в книжный магазин Суворина и он велел прислать ему все, что было издано отдельно, Мамина-Сибиряка.

И он принялся поправлять свою оплошность, каждый день в свободные часы читая Мамина, но, когда при встрече я его спрашивал о впечатлении, он, видимо, избегал определенно высказываться.

И только когда прошло несколько дней, он однажды сам заговорил об этом:

— А знаешь… я про Мамина… Он в книгах такой же точно, как и в жизни… Тот же чернозем — жирный, плотный, сочный, который тысячу лет может родить без удобрения. Растут на нем дикие травы и злаки, им же несть числа, а в гущине их живут на воле зайцы, стрепеты, куропатки и перепела… Это — та степь, которая воспета Гоголем.

— Ты хочешь сказать, что он некультурен?

— Да, вот слава богу, за культурностью он не гоняется. Но зато в каждом его рассказе какой-нибудь Поль Бурже извлек бы материала на пять толстых романов. Знаешь, когда я читал маминские писания, то чувствовал себя таким жиденьким, как будто сорок дней и сорок ночей постился…

— Я теперь понял, почему он сам такой, — снова потом вернулся А.П. к той же теме. — Там, на Урале, должно быть, все такие: сколько бы их ни толкли в ступе, а они всё — зерно, а не мука. Когда, читая его книги, попадаешь в общество этих крепышей — сильных, цепких, устойчивых черноземных людей, — то как-то весело становится. В Сибири я встречал таких, но, чтобы изображать их, надо, должно быть, родиться и вырасти среди них. Тоже и язык… У нас народничают, да всё больше понаслышке. Слова или выдуманные, или чужие. Я знаю одного писателя-народника — так он, когда пишет, усердно роется у Даля и в Островском и набирает оттуда подходящих «народных» слов… А у Мамина слова настоящие, да он и сам ими говорит, и других не знает.

В другой раз, снова вернувшись к этой теме, Чехов сказал:

— Мамин принадлежит к тем писателям, которых по-настоящему начинают читать и ценить после их смерти. И знаешь, почему? Потому что они свое творчество не приурочивали к преобладающему направлению…

Это уж было отчасти и про себя. Его ведь тоже упрекали в равнодушии к направлению. Одно время это было даже ходячей фразой, которую повторяли люди, привыкшие высказывать готовые суждения с чужого голоса: «Чехов — талант, но без всякого направления».

Известный в то время критик Скабичевский, который весь состоял из направления, немало способствовал распространению этого взгляда.

Симпатии Чехова к Дмитрию Наркисовичу завершились торжественным совместным снятием в фотографии. В качестве общего их приятеля на этой карточке очутился и я (см. N 26, стр. 512).

Начало зимы 1896 года ознаменовалось одним из самых нелепых событий, какие только бывали в истории петербургских казенных театров. Я говорю об известном провале в Александринском театре чеховской «Чайки»…

Я знаю людей, которые и теперь еще, по прошествии восемнадцати лет, когда вспоминают об этом, начинают беспокоиться так, как будто это было вчера:

— Нет, но «Чайка»… Вы помните? С Коммиссаржевской… Ведь это было что-то беспримерное…

«Чайка», которая потом сделалась символическим знаком Московского Художественного театра и до сих пор еще, кажется, красуется на его занавеси, бланках и т. п.

Мне привелось близко стоять ко всей истории этой постановки, заботиться о переписке экземпляров для цензуры, вести переговоры с самой цензурой и т. п.

Современный читатель, вероятно, удивится упоминанию о переговорах с цензурой. Он знает «Чайку», и ему известно, что там нет ничего, что могло бы дать повод для работы красных чернил Театральной улицы.

Но в те времена, отделенные от нас только восемнадцатью годами, ни один автор не мог поручиться за цензурность своей пьесы. Требования были не то что очень большие или суровые, а просто произвольные. Была не цензура, действующая на основании точных правил, которые мог бы иметь в виду и автор, а цензора, каждый с своими особыми взглядами и требованиями и даже капризами.

В одном из писем, где речь идет именно о «Чайке», Антон Павлович беспокоится о судьбе пьесы и называет цензора Литвинова. Это был цензор, с которым драматурги предпочитали иметь дело. Человек культурный, с ним можно было говорить, спорить, убеждать. К пьесам он предъявлял минимум требований, делал уступки до самого того рубежа, где начинался уже его личный риск ответственностью.

Но были цензора и другого рода, и их весьма тщательно избегали авторы. Кажется, в то время был еще жив цензор Донауров, не пропускавший в пьесе никакого упоминания о боге, и если, например, у действующего лица была привычка божиться,

повторять — «ей-богу», то цензор преспокойно лишал его этой привычки, считая, что на сцене это представляет кощунство.

При таких обстоятельствах Чехов имел право бояться за «Чайку». Но, по счастью, она попала к «доброму цензору» и существенной аварии не потерпела.

Самая пьеса, когда Чехов прислал ее в Петербург еще в рукописи и даже не в оконченном виде, так как она отсылалась ему в деревню, изменялась им и отделывалась, вызвала к себе очень осторожное отношение.

Талантливость ее как литературного произведения била в глаза. Но для сцены, как казалось с точки зрения установившегося вкуса, в ней чего-то важного недоставало. Не было условного развития драматического сюжета с постепенным нарастанием и разрешением в конце, перед падением последнего занавеса. Иными словами — не было того, что составляет сущность театрального представления, что захватывает всего зрителя и держит его пленником до конца.

Это порождало сомнение в возможности удачной постановки ее на сцене. Мысль сама собою переносилась к нашим актерам, которые привыкли к известным формам, и было мало надежды на то, что им удастся схватить, усвоить и выявить то совершенно новое, что предлагал им Чехов. Еще меньше было надежды на то, что пьесу поймет и примет наша театральная публика.

Но художественные достоинства этого произведения были так блестящи, краски так свежи и оригинальны, манера рисовать жизнь так проста и полна какого-то внутреннего изящества, особого, чеховского, секрет которого он никому не завещал и унес с собой, как сказочный волшебник уносит с собой в могилу вещее слово, заклятие, которое только он один знал, — что думалось: почем знать, может, свершится чудо, и эти достоинства так завладеют актерами и публикой, что они не заметят того, чего недостает.

Я лично был в восторге от «Чайки», но с Чеховым спорил. Я говорил, что сцена предъявляет вполне законные требования условности, и если писатель не хочет подчиняться им, то он не должен пользоваться сценой, а избрать для своих образов другой род литературы.

Но он этого не признавал и, возражая, впадал в преувеличение, как это с ним всегда бывало: «Никаких сюжетов не нужно. В жизни нет сюжетов, в ней все перемешано — глубокое с мелким, величавое с ничтожным, трагическое с смешным. Вы, господа, просто загипнотизированы и порабощены рутиной и никак не можете с нею расстаться. Нужны новые формы, новые формы…»

Эту последнюю фразу он повторял часто, а в «Чайке» вложил ее в уста Треплеву и заставил тоже повторять.

В конце концов он на меня подействовал своей убежденностью. Я начал думать, что художественные достоинства «Чайки» покорят жестоковыйную публику Александринского театра.

Но в судьбе этой пьесы сыграли роль такие случайности и посторонние делу обстоятельства, какие, кажется, немыслимы ни в одном театре, кроме русского.

В то время в Александринском театре в полном ходу была система бенефисов. У главных актеров бенефисы были ежегодные, вторые же — получали их от времени до времени, за особые заслуги или просто когда кому-нибудь удавалось выхлопотать. Основной репертуар сезона составлялся заранее, и если автор приходил с своей пьесой во время сезона, то какими бы достоинствами она ни обладала, для нее уже не было места.

Конечно, бывали исключения. Связи и хлопоты, слово, замолвленное влиятельным лицом, легко открывали дверь храма во всякое время. Но у Чехова не было связей, хлопотать же он не умел, да и не хотел.

Но зато благодаря бенефисам на сцену иногда попадали пьесы, лишенные всяких художественных достоинств, но заключавшие в себе эффектную роль для бенефицианта. Бенефициант сам выбирал для себя пьесу, требовалось только формальное утверждение дирекции. Так же формально к таким пьесам относился и Театрально-литературный комитет. Что же было делать, если актер или, еще хуже, актриса настаивали?

Если бенефис получал актер второстепенный, то он иногда, ради хорошего сбора, жертвовал своим актерским самолюбием и выбирал пьесу с козырной ролью не для себя, а для первой актрисы, имя которой делало сбор, «ли старался выехать на имени автора.»

К несчастью, тут случилось именно это последнее. Пьеса досталась для бенефиса Левкеевой. В ней для бенефициантки совсем не было роли.

В одном из писем своих, не помню — кому, А.П., говоря о распределении ролей в «Чайке», сообщает, что Чайку, то есть Нину Заречную, будет играть толстая комическая актриса Левкеева. Конечно, это была заведомая шутка.

Но в дальнейшем, когда начали искать роль для бенефициантки, стали в тупик. Бенефициантке в пьесе нечего было делать. Упоминаемая в одном из писем Суворину моя мысль — отдать ей роль жены управляющего, конечно, не принадлежала к удачным, но это была единственная возможность так или иначе

ввести ее в пьесу и, как это водилось, дать публике возможность встретить ее аплодисментами.

Цель — прямо-таки святотатственная, когда речь идет о таком произведении, как «Чайка», но это все-таки было гораздо меньшее зло, чем ставить пьесу в бенефис Левкеевой.

Это была актриса своеобразная. Есть такие люди, которые, не делая никаких усилий, одним своим появлением в обществе вызывают веселое настроение. Что-то в них есть смешное — в манерах, в движениях, в голосе. Общество умирает от скуки, но появляется такой человек — и всем вдруг становится весело.

Левкеева, на мой взгляд, была такая актриса. При исполнении роли едва ли она задавалась целью дать какой-нибудь характер или тип. Это всегда была Левкеева. Сама она по своему складу очень подходила для некоторых персонажей Островского, но это было просто счастливое совпадение. В остальном же, в чем она появлялась, она смешила своими манерами, походкой, голосом.

Появление такой актрисы в пьесе Чехова, конечно, было бы неуместно. «Публика станет ждать от этой роли чего-нибудь смешного и разочаруется», — совершенно справедливо заметил Чехов. Было ясно, что бенефициантку придется совсем устранить из пьесы, что и было потом сделано.

Дальше начали мудрить с другими женскими ролями. Мужские разошлись более или менее правильно, но женские — это всегда трудней.

Правильная мысль роль актрисы поручить М.Г.Савиной, у которой эта роль вышла бы блестяще, по каким-то дипломатическим причинам, кажется, даже и не высказывалась. Для этой роли была выдвинута Дюжикова, хорошая актриса для драмы, но лишенная юмора и скучная в характерных ролях. Савиной же, по мысли А.С.Суворина, предполагалось предложить роль Заречной, из чего, несмотря на огромный талант М.Г., едва ли вышло бы благо.

Почему-то о Коммиссаржевской тогда никто и не подумал. Сам же Чехов ни в чем ее не видал и не был знаком с ее дарованием. И только в последнюю минуту вспомнили об этой актрисе.

Невозможно описать, как волновалась Вера Федоровна, приступая к созданию этой роли. Самая пьеса очаровала ее, но она боялась и за себя, и особенно за прием пьесы публикой.

Антона Павловича еще не было в Петербурге, когда приступили к репетициям. Они шли слабо. Артисты отнеслись к пьесе совершенно так же, как ко всякой другой.

Сегодня не пришел один, за, завтра двое, и в то время, как

явившиеся играют свою роль уже под суфлера, за неявившегося читает по рукописи помощник режиссера. Что из этого получалось — легко себе представить.

Артист, исправно посещающий репетиции и искренне желающий добросовестно работать и создать из роли, что в силах, теряется, напрасно ищет тона, сбивается, а в конце концов приходит в отчаяние и на все машет рукой: что будет, то будет.

Такое отношение к делу некоторых актеров — настоящая беда театра.

Есть большие актеры с признанным талантом, благодаря чему они занимают в труппе твердое положение. Опираясь на свой авторитет и считая для своего большого дарования и опытности достаточным две-три репетиции, они обыкновенно на целый ряд репетиций не приходят, и то, что они сделают из своих ролей, для остальных участвующих чуть не до последнего момента является тайной. При таких условиях никакой архитектурный план выполнен быть не может, каждый играет за себя, чувствует себя ответственным, насколько это возможно, только за свою роль. Ни общей, единой для всех, задачи, ни тона, ни настроения тут быть не может.

Если от этого страдает всякая пьеса, то «Чайка», написанная тонкими штрихами, где лица нарисованы нежнейшими красками, должна была завянуть, как нежное молодое растение от повеявшего на него холода. Так это и было.

И когда Чехов, никем из актеров не замеченный, пришел в театр, занял место в темной зале и посидел часа полтора, — то, что происходило на сцене, произвело на него гнетущее впечатление. До спектакля оставалось пять дней, а половина исполнителей еще читала роли по тетрадкам, некоторых же вовсе не было на сцене, вместо них появлялся бородатый помощник режиссера и без всякого выражения прочитывал, в виде реплик, последние слова из их роли…

Когда режиссер упрекал актера, читающего по тетрадке: «Как вам не стыдно до сих пор роль не выучить!» — тот с выражением оскорбленной гордости отвечал: «Не беспокойтесь, я буду знать свою роль…»

Антон Павлович вышел из театра подавленный. «Ничего не выйдет, — говорил он. — Скучно, неинтересно, никому это не нужно. Актеры не заинтересовались, значит — и публику они не заинтересуют».

У него уже являлась мысль — приостановить репетиции, снять пьесу и не ставить ее вовсе.

Когда обо всем этом узнала Коммиссаржевская, она пришла в отчаяние. Сама она усердно посещала репетиции, но играла

вполголоса, — о ней судить Антон Павлович не мог. Но она больше чем кто другой чувствовала всю нелепицу, какая выходила из представления, и в то же время видела себя бессильной.

На одну из следующих репетиций Чехов пришел к самому началу, и, когда его увидели актеры, на сцене произошло то непонятное и не поддающееся объяснению явление, которое знакомо только актерам и, может быть, только русским: чудо, иногда спасающее совсем проваливающуюся пьесу; без предварительного уговора — общий подъем, коллективное вдохновение, незримо сошедшие с неба огненные языки.

Все подтянулись и начали играть. У не знающих ролей уточнился и обострился слух, и они улавливали каждый шорох, вылетавший из суфлерской будки. Появился рисунок, даже что-то общее, что-то похожее на настроение.

Когда же вышла Коммиссаржевская, сцена как будто озарилась сиянием. Это была поистине вдохновенная игра.

В последней своей сцене, когда Нина ночью приходит к Треплеву, артистка поднялась на такую высоту, какой она, кажется, никогда не достигала.

В зале не было публики, но был Чехов; она играла для него одного и привела его в восторг. Было что-то торжественное и праздничное в этой репетиции, которая, несомненно, была чудом. Александринские актеры доказали, что при известных условиях они могут достигать высочайшего подъема.

И куда девалось унылое настроение, с которым Чехов уходил из театра после предыдущих репетиций! Исчезли все сомнения. Пьеса, несомненно, пройдет хорошо, и если публика не примет ее, то примет актеров, которые все дают массу живого и интересного.

Но чудо, как видно, не повторяется. На генеральной репетиции на сцене царила какая-то неопределенность. Что-то как будто переломилось, словно артисты, дав слишком много на той репетиции, надорвали свои силы. Вдохновения уже не было, огненные языки не слетели с неба.

Все шло гладко, но бледно и серо. Чеховские люди все больше и больше сбивались на александринских. Актеры, которые так вдохновенно на той репетиции отошли от себя, как будто забыли, как это они сделали. Дорогу занесло снегом, и пришлось идти ощупью, как попало.

Накануне представления мы с Антоном Павловичем обедали у Палкина. Он уже предчувствовал неуспех и сильно нервничал.

К спектаклю приехали из Москвы Марья Павловна и еще кой-кто из близких, и он выражал недовольство. Зачем было

приезжать? Это как будто увеличивало его ответственность.

И вот — спектакль, кажется, действительно беспримерный в истории театра, по крайней мере на моей памяти.

Все же я должен сказать, что суждения о каком-то исключительном, точно то особому заказу плохом исполнении «Чайки» в ту постановку ее на александринской сцене были преувеличены. Я сужу по генеральной репетиции и по дальнейшим спектаклям, кроме первого представления, на котором я, по особым личным обстоятельствам, не был.

И тот провал, о котором так много говорили и писали и который произвел такое глубокое впечатление на Чехова, был вызван взаимодействием исключительных причин.

На сцене были Коммиссаржевская, Абаринова, Дюжикова, Читау, Давыдов, Варламов, Аполлонокии, Сазонов, Писарев, Панчин. Этим актерам, даже и не в столь густой концентрации, приходилось выступать в пьесах безжизненных и бездарных, и они умудрялись делать им успех. О небрежности же с их стороны, о невнимании не могло быть и речи.

Можно сказать с уверенностью, что они напрягали все силы своих дарований, чтобы дать наибольшее и наилучшее. То, чего недоставало, — общий тон, единство настроения, — был недостаток коренной и проявлялся не здесь только, а и в других постановках.

Может быть, здесь оно проявилось несколько резче, потому что среди участников представления были люди, отрицательно относившиеся к самой пьесе и авторской манере изображения. Они, таким образом, играли без убежденности.

Но зато их согревала симпатия к автору, которого все любили и желали сделать для него как можно лучше.

И все таки был даже не неуспех, а провал, притом выразившийся в совершенно нетерпимых, некультурных, диких формах.

И, конечно, дело было не в актерах и не в их игре, а в публике. Публика первых представлений Александринского театра — довольно приятная публика. Хорошее она принимает с восторгом, к посредственному снисходительна. В массе она интеллигентна и равнодушна.

В театр эта публика приходит отдыхать и с некоторой пользой для ума и сердца развлечься. Половина театра — по записям автора, режиссеров, актеров, дирекции: они чувствуют себя чуточку привилегированными, и это делает их снисходительными союзниками.

И потому первые представления в этом театре почти сплошь проходят гладко. Актерам аплодируют, потому что любят их,

автора вызывают — ну, хотя бы для того, чтобы посмотреть, какой он из себя и какое у него будет глупое лицо, когда он начнет раскланиваться.

Но бенефисная публика — это нечто другое. Преобладающий состав ее не поддается общему определению. Это зависит от того, чей бенефис.

У каждой актрисы и у каждого актера — свои особые поклонники, и уж они, конечно, первые заполняют запись на места. И самая запись производилась (не знаю, как теперь) не в кассе и не в конторе театра, а у бенефицианта на дому.

Это тоже ведь представляет особого рода прелесть: прийти к артистке и засвидетельствовать свое поклонение или выразить его в письменной форме. Таким образом, успех пьесы ставится в прямую зависимость от того, чей бенефис и каков контингент поклонников.

Без сомнения, актер знал своих почитателей и пьесу для своего бенефиса выбирал применительно к их вкусам, но в данном случае, очевидно, Левкееву посетило какое-то затмение. Решительно необъяснимо, почему именно она выбрала «Чайку» и этим ввела неповинного автора в крайне невыгодную сделку.

Левкеева — веселая, смешная актриса, обыкновенно появлявшаяся в ролях бытовых, а то игравшая приживалок, старых дев, которые обыкновенно трактуются в комическом виде и говорят смешные слова, с смешными ужимками.

При появлении Левкеевой на сцене всем было смешно, и вызванный ею смех был добродушного, но невысокого, общедоступного качества. Ее поклонники были купцы, приказчики, гостинодворцы, офицеры.

Очевидное дело, что, когда был объявлен ее бенефис, они подумали: «Левкеева! Вот уж насмеемся, потешим душу. То-то, должно быть, угостит она пьесочкой… Бока надорвем смеючись».

И ринулись записываться на места, невзирая на возвышенные цены. Сама Левкеева в этом случае перескромничала, слишком мало понадеялась на свое собственное имя и усилила его еще именем автора.

Но в том кругу, который она привлекла на свой бенефис, едва ли было даже известно имя Чехова.

Были, конечно, зрители, которых привлекло в театр имя не Левкеевой, а Чехова, но их было ничтожное число. Широкую интеллигентную аудиторию, которая тогда уже была у Чехова, бенефисные цены заставили отложить наслаждение до следующих спектаклей.

И вот эта-то публика и явилась ценительницей чеховских «новых форм», которые ей показали со сцены. Ничего другого и

не могло произойти, кроме того, что произошло.

С первых же сцен началось недоумение. Актеры говорили на непонятном языке недоступные пониманию публики вещи. Никто не смешил, никто не раздирал душу.

Герой — какой-то неизвестный молодой человек, вздыхающий по «новым формам» и страдающий оттого, что у него из литературы ничего не выходит.

Наивная провинциальная девушка… Известный писатель, пожилая актриса… Скучный доктор, скучный сельский учитель, жена его, пьющая водку…

Требовать от этой публики, чтобы она разглядела ту тихую, незримую трагедию, которая витает над жизнью этих людей, было бы даже несправедливо.

И, выслушав акт и часть второго, левкеевская публика почувствовала себя оскорбленной. Кроме того, эта публика была невоспитанная. Другая публика, если б даже нашла пьесу неудачной, плохой, из уважения к автору — проводила бы ее молчанием. Это был бы неуспех, но в этом не было бы ничего обидного. Не нравится. Что с этим поделаешь? Дело вкуса.

Но тут было иначе. Невоспитанная публика захотела показать и даже подчеркнуть свою невоспитанность.

К моему большому счастью, я этого своими глазами не видел. Но люди, которые пришли после спектакля, рассказали мне вещи, которым я не хотел верить.

Во время представления зрители первых рядов демонстративно поворачивались спиной к сцене, громко разговаривали с знакомыми, смеялись, шипели, свистали.

Как должны были реагировать на это актеры? Нужно знать, что такое актер на сцене. Это барометр, чутко воспринимающий все происходящее в зрительной зале.

И, уж конечно, всякое настроение и всякая игра должны были пойти к черту. Сначала недоумение, потом обида, досада, отчаяние, растерянность и «всеобщая паника», как определил сам Чехов.

Потом он кому-то писал, что актеры играли ужасно, ролей не знали и проч. и что будто бы игра была так плоха, что через нее нельзя было разглядеть самой пьесы.

Но тут он был несправедлив. Актеры просто растерялись. Они никогда ничего подобного не испытали. В зале сидела чужая публика, которая и вела себя по-чужому.

«Всеобщая паника» — какой же хорошей игры можно было требовать от актеров, какого знания ролей? Да они в это время, наверно, забыли таблицу умножения и свои собственные имена. И чем горячее они относились к пьесе, тем сильнее это должно

было в них проявиться.

Чехов несправедливо взвалил всю ответственность на актеров, тогда как вся причина была в публике, а виноват был он сам, неосмотрительно отдавший пьесу в бенефис Левкеевой.

Впечатление, произведенное на него этим невероятным событием, было огромное. И нужно было обладать чеховской выдержкой, чтобы иметь равнодушное лицо и почти равнодушно шутить над всем происшедшим.

В тот вечер я его не видел и не знаю, с каким лицам он «ужинал у Романова, честь-честью».

Я пришел к нему на другой день часов в десять утра. Он занимал маленькую квартирку в доме Суворина, где-то очень высоко, и жил один.

Я застал его за писанием писем. Чемодан, с плотно уложенными в нем вещами, среди которых было много книг, лежал раскрытый.

— Вот отлично, что пришел. По крайней мере проводишь. Тебе я могу доставить это удовольствие, так как ты не принадлежишь к очевидцам моего вчерашнего триумфа… Очевидцев я сегодня не желаю видеть.

— Как? Даже Марью Павловну?

— С нею увидимся в Мелихове. Пусть погуляет. Вот письма. Мы их разошлем. Я уже уложился.

— Почтовым?

— Нет, это долго ждать. Есть поезд в двенадцать.

— Отвратительный. Идет, кажется, двадцать два часа.

— Тем лучше. Буду спать и мечтать о славе… Завтра буду в Мелихове. А? Вот блаженство!.. Ни актеров, ни режиссеров, ни публики, ни газет. А у тебя хороший нюх.

— А что?

— Я хотел сказать: чувство самосохранения. Вчера не пришел в театр. Мне тоже не следовало ходить. Если б ты видел физиономии актеров! Они смотрели на меня так, словно я обокрал их, и обходили меня за сто саженей. Ну, идем…

Захватив чемоданы и письма, вышли и спустились по лестнице. Тут письма были отданы швейцару, с поручениями. В одном он извещал о своем отъезде Марью Павловну, в другом — Суворина, в третьем, кажется, брата.

Взяли извозчика и поехали на Николаевский вокзал. Тут Антон Павлович уже шутил, посмеивался над собой, смешил себя и меня.

На дебаркадере ходил газетчик, подошел к нам, предложил газет. Антон Павлович отверг: — Не читаю! — Потом обратился

ко мне:

— Посмотри, какое у него добродушное лицо, а между тем руки его полны отравы. В каждой газете по рецензии…

Поезд был пустой, и у Антона Павловича оказалось в распоряжении целое купе второго класса.

— Ну, и сладко же буду спать, — говорил он.

Но в глазах его было огорчение. Все эти остроты, шутки, смех ему кой-чего стоили.

— Кончено, — говорил он перед самым отъездом, уже стоя на площадке вагона. — Больше пьес писать не буду. Не моего ума дело. Вчера, когда шел из театра, высоко подняв воротник, яко тать в нощи, — кто-то из публики сказал: «Это беллетристика», а другой прибавил: «И преплохая…» А третий спросил: «Кто такой этот Чехов? Откуда он взялся?» А в другом месте какой-то коротенький господин возмущался: «Не понимаю, чего это дирекция смотрит. Это оскорбительно — допускать такие пьесы на сцену». А я прохожу мимо и, держа руку в кармане, складываю фигу: на, мол, скушай; вот ты и не знаешь, что это сделал я.

— А то, может, раздумаешь, Антон Павлович, да останешься? — предложил я, когда раздался второй звонок.

— Ну, нет, благодарю. Сейчас все придут и утешать будут — с такими лицами, с какими провожают дорогих родственников на каторгу.

Третий звонок. Простились.

— Приезжай в Мелихово. Попьем и попоем.

И поезд отошел. Антон Павлович уехал, глубоко оскорбленный Петербургом.

Но как скоро душа его осилила это проклятое наваждение! На другой день, приехав в Мелихово, он уже пишет деловые письма, хлопочет о книгах для таганрогской библиотеки, которой он помогал организоваться. Заботится о больных мужиках, с которыми он, несмотря ни на что, возится, а о своем душевном состоянии пишет шутливо: «Дома у себя я принял касторки, умылся холодной водой — и теперь хоть новую пьесу пиши…»

И опять явилась прежняя уравновешенность. Своей «Чайке» он сперва велел не показываться на глаза. На просьбу поместить ее в «Русской мысли» послал отказ, а потом согласился, разрешил любителям играть ее и вообще примирился с нею.

Я был на втором и на третьем представлениях «Чайки». В зрительной зале сидела обычная публика Александринского театра, и я мог наблюдать, с каким вниманием она вслушивалась в то новое, что происходило на сцене.

Там не было обычных — драматической актрисы, первого любовника, простака-мужа, великосветского хлыща и пр. и пр.,

что полагалось и к чему привыкли глаз и ухо, но это не мешало с любопытством слушать и смотреть.

Я решительно утверждаю, что пьеса на этих представлениях нравилась большой публике. Актеры начали сыгрываться, и можно было думать, что мало-помалу у них получится нечто цельное, чего нельзя было и требовать раньше за почти полным отсутствием настоящих репетиций, и «Чайка» войдет в репертуар.

В этом смысле я и другие телеграфировали и писали Антону Павловичу, но он принял это за желание утешить и вообще отнесся скептически.

Он был прав только в одном отношении: что если даже все это и так, то пьесе не дадут выиграться и занять надлежащее место. Так это и случилось.

Тогдашняя дирекция оказалась по своим художественным вкусам мало чем выше той публики, какая наполняла залу на первом представлении «Чайки». Бенефисная дирекция… В оценке пьесы она, очевидно, руководствовалась такими внешними признаками, как вызовы актеров, аплодисменты и цифра сбора.

Аплодисментов действительно было немного, и вызовы были скромные. Но это понятно. «Гром аплодисментов» обыкновенно вызывается чем-нибудь эффектным, совершающимся на сцене, а в «Чайке», как и вообще у Чехова, за исключением первых его пьес, написанных еще в старой манере, то есть именно до «Чайки», — таких нарочито эффектных мест не было.

Что же касается цифры сборов, то «новые формы», казалось бы, заслуживали того, чтобы подождать и дать публике возможность ознакомиться с ними, разглядеть их и оценить.

Но цифра 800 рублей на четвертом представлении так испугала дирекцию, что она, чуть ли не после этого спектакля, решила снять пьесу с репертуара.

А несколько лет спустя «Чайка» была вторично поставлена в том же театре. Тогда уже появились новые веяния и была новая дирекция. Роли были распределены несколько иначе. В Александринском театре уже не было Коммиссаржевской, умер Сазонов, из пьесы выступил Варламов.

И что же? Несмотря на все это, «Чайка» имела успех. Она была дана заурядным спектаклем, бенефисной публике не было предоставлено решать ее судьбу. Коммиссаржевскую заменила Селиванова, хорошая актриса, но не претендовавшая даже на сравнение с Коммиссаржевской. Роль Сазонова исполнял Шувалов, опять-таки с большим ущербом для роли.

И, несмотря на все это, пьеса имела успех, делала сборы и держалась на афише.

Я уже не говорю о Художественном театре, для которого

«Чайка» была своего рода исходным пунктом, где она имела шумный, демонстративный успех.

И я совершенно уверен, что если б и в первый раз в Александринском театре «Чайка» была дана обыкновенным спектаклем, то публика приняла бы ее хотя, может быть, и с некоторым удивлением, но благосклонно и почтительно. Как театральная пьеса «Чайка» не удовлетворила бы ее, но пленили бы ее исключительные художественные достоинства.

Все то, что я рассказал здесь, я взял из своей памяти. Я не веду дневников и не имею привычки заносить свои мысли и наблюдения в записные книжки.

Но если бы даже такая привычка у меня была, я ничего не записал бы о Чехове, так как никогда не смотрел на него как на объект для наблюдения.

Менее всего я претендую на характеристику личности А.П.Чехова. Я хотел только отметить некоторые моменты его жизни, когда я стоял к нему близко. Пусть все это будет даже незначительно, но ничто, касающееся его, не должно быть потеряно.

Десять лет тому назад умер Антон Павлович Чехов. Но несколько лет спустя он воскрес перед нами в своих письмах, которые были собраны и изданы в четырех книгах.

Сборники эти не полны. Я, например, знаю, что после постановки «Чайки» у А.П. была переписка с В.Ф.Коммиссаржевской, писал он и Д.Н.Мамину и другим. Этих писем, вероятно, нельзя было получить, и их нет в изданных сборниках.

Но, несмотря на неизбежные пробелы, эти четыре книги воскрешают перед нами его образ с изумительной ясностью и красочностью.

Читая эти письма, я вижу перед собою живого Антона Павловича и любуюсь его изящной, очаровательной душой.

1914

# ПРИМЕЧАНИЯ

Потапенко Игнатий Николаевич (1856–1929) — беллетрист, драматург и фельетонист (псевдоним: Фингал). Знакомство с Чеховым состоялось в Одессе, в 1889 году. Вторая встреча — начало их сближения — относится к 1893 году. Состоял с Чеховым в длительной переписке. Известны лишь семь писем Чехова к Потапенко (их должно быть около семидесяти) 1896 и 1903 годов. В Архиве А.П.Чехова (ГБЛ) имеется шестьдесят восемь писем к нему Потапенко (1895–1900 и 1903 гг.).

Печатается по тексту, опубликованному в журнале «Нива», 1914, NN 26–28.

Стр. 314. В Польше праздновали юбилей… Генриха Сенкевича. — Юбилей Сенкевича отмечался в 1895 году.

Я знал… одного писателя… — Имеется в виду И.Л.Щеглов.

Стр. 315… «филиальное чествование». — Чествование Д.В.Григоровича, в связи с 50-летием его литературной деятельности, было организовано редакцией журнала «Русская мысль» в 1894 году.

…написал ему трогательное отеческое письмо. — См. прим. к стр. 136.

Стр. 317…приводил известный рассказ о встрече Белинского с Достоевским. — Белинский, получив от Некрасова для просмотра рукопись «Бедных людей» Достоевского, под впечатлением повести «не спал всю ночь» и выразил желание немедленно познакомиться с молодым автором. Подробнее об этой встрече см. Ю.Оксман. Летопись жизни и творчества В.Г.Белинского, М. 1958, стр. 407.

Стр. 318. «Когда я теперь вспоминаю о своем детстве…» — из письма от 9 марта 1892 года.

Стр. 322. «Медицина — моя законная жена…» — из письма И.И.Островскому от 11 февраля 1893 года.

«Душа моя утомлена…» — из письма от 16 августа 1892 года.

«Нехорошо быть врачом…» — из письма А.С.Суворину от 1 августа 1892 года.

Стр. 322–323…искреннего влечения к врачебной деятельности А.П. не питал. — Это утверждение Потапенко опровергается и повседневной жизненной практикой самого Чехова и свидетельствами его современников. См.: И.М.Гейзер. Чехов и медицина, М. 1954, и Е.Б.Меве. Страницы из жизни А.П.Чехова (Труд и болезнь писателя-врача), Харьков, 1959.

Стр. 323–324. «Маленько покашливаю…» — из письма Ал.

П.Чехову от 29 октября 1893 года.

Стр. 324. «Я жив и здоров…», «Для чего… все эти… слухи…» — из писем А.С.Суворину от 11 и 25 ноября 1893 года.

Стр. 330… «в забавах суетного света малодушно погружены» — перифраз из стихотворения А.С.Пушкина «Поэт» (1827).

«Ты спрашиваешь…» — из письма к И.Н.Потапенко от 26 февраля 1903 года.

Стр. 332…в одном из своих писем. — См. письма А.С.Суворину от 15 августа 1894 года и к Н.М.Линтваревой от 6 сентября 1894 года.

Стр. 335…небывалый в России праздник книги… — Имеется в виду фактическая отмена цензуры, вызванная революционными событиями 1905 года, и, в связи с этим, значительное расширение книгоиздательского дела.

…издатель — А.Ф.Маркс. Об условиях договора Чехова с Марксом см. воспоминания Н.Д.Телешова на стр. 482–486.

Стр. 336…издатель детского журнала. — Д.И.Тихомиров, редактор-издатель журнала «Детское чтение».

Стр. 337. «Не работать мне нельзя…» — из письма от 29 декабря 1895 года.

«Я до такой степени измочалился…» — из письма к Л.С.Мизиновой от 27 марта 1894 года.

Стр. 338…книга… ниже всего… написанного им… — Потапенко не смог правильно оценить ни значения этого путешествия для творческой биографии Чехова, ни общественного значения «Острова Сахалина». См. статью М.Л.Семановой «Сахалинское путешествие А.П.Чехова» (Ученые записки Ленингр. пед. ин-та им. А.И.Герцена, т. 43, кафедра русской литературы, Л. 1947).

«Денег, денег…» — из письма к Л.С.Мизиновой от 13 августа 1893 года.

Стр. 339. N. — П.А.Сергеенко.

Стр. 344. Последние годы своей жизни он посвятил народному театру, много писал о нем… — О народном театре И.Л.Щегловым написан ряд работ: «Народный театр в очерках и картинках», Спб. 1895 и 1898; «В защиту народного театра», Спб. 1901, и др.

Стр. 345. В воспоминаниях одного писателя… — См. воспоминания В.Г.Короленко на стр. 145.

Стр. 346. Татьянин день — 12 января — традиционный праздник, отмечавшийся московским студенчеством в ознаменование годовщины основания Московского университета.

Стр. 347…целый ряд… обедов. Они назывались

«беллетристическими». — Первый «обед беллетристов» состоялся 12 января 1893 года в петербургском ресторане «Малый Ярославец». На обеде присутствовало восемнадцать писателей: А.П.Чехов, Д.В.Григорович, Д.Н.Мамин-Сибиряк, К.С.Баранцевич и др.

Стр. 349…(см. N 26, стр. 512) — указывается страница N 26 журнала «Нива» за 1914 год, где печатались воспоминания Потапенко. См. эту фотографию в наст. издании.

…об известном провале… чеховской «Чайки»… — См. воспоминания Л.А.Авиловой на стр. 244–248.

Стр. 352. В одном из писем своих, не помню — кому… — письмо И.Л.Щеглову от 23 сентября 1896 года.

Стр. 356…и еще кой-кто из близких — Л.С.Мизинова; см. воспоминания М.П.Чеховой в предыдущих изданиях настоящего сборника.

Стр. 359… «ужинал у Романова, честь-честью» — из письма А.С.Суворину от 22 октября 1896 года.

Стр. 360…он извещал о своем отъезде Марью Павловну… Суворина… брата. — Письма к М.П.Чеховой, А.С.Суворину и М.П.Чехову от 18 октября 1896 года.

Стр. 361. «Дома у себя…» — из письма А.С.Суворину от 22 октября 1896 года.

Стр. 363…собраны и изданы в четырех книгах. — Имеется в виду шеститомное издание «Писем А.П.Чехова», М. 1912–1916, из которого ко времени написания Потапенко своих воспоминаний (1914) вышло четыре тома.

Этих писем… нет в изданных сборниках. — Значительная часть писем Чехова вошла в Полное собрание сочинений и писем, М. 1944–1951.

**notes**

# Примечания

манией величия (лат.).